БАКАЛАВРИАТ и МАГИСТРАТУРА

ФГОС 3+

ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»

Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ

(опыт институционального анализа)

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Второе издание, переработанное

BOOK.ru
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

КНОРУС • МОСКВА • 2016

УДК 330(075.8)
ББК 63.3(0)я73
Н90

Нуреев Р.М.
Н90 Экономическая история России (опыт институционального анализа) : учебное пособие / Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов. — 2-е изд., перераб. — М. : КНОРУС, 2016. — 268 с. — (Бакалавриат и магистратура).

ISBN 978-5-406-05506-9
DOI 10.15216/978-5-406-05506-9

Данная книга является первым опытом институционального анализа экономической истории России. С точки зрения этого подхода российская цивилизация является своего рода «двойной периферией» — периферией одновременно стран западного пути развития, основанного на частной собственности, и стран восточного пути развития, основанного на власти-собственности. Развитие российской цивилизации было единством прерывистости и непрерывности. В результате к началу XX в. Россия так и не смогла окончательно решить, является ли она «другой Европой» или «не-Европой». В 1917—1991 годы в России осуществлялась альтернативная модернизация, которая объективно направлена на решение тех же проблем, перед которыми стоят все «обычные» страны догоняющего развития, но принципиально другими — внерыночными — методами. При анализе социально-экономического развития России 1990—2010-х гг. подчеркивается, что многие институты «азиатского способа производства» продолжают воспроизводиться и после создания основ рыночного хозяйства. Таким образом, постсоветская экономическая история демонстрирует конкуренцию институтов власти-собственности и частной собственности в деятельности всех акторов хозяйственной жизни.

Соответствует ФГОС ВО 3+.

Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов и факультетов, всех интересующихся актуальными проблемами современной экономической науки.

УДК 330(075.8)
ББК 63.3(0)я73

Дополнительные материалы: «Методические указания для преподавателя», «Учебно-методические рекомендации для студентов», «Тесты, задачи и практические задания» — доступны в электронно-библиотечной системе BOOK.ru.

Нуреев Рустем Махмутович
Латов Юрий Валерьевич

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ
(опыт институционального анализа)

Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ51.Н03820 от 08.09.2015.

Изд. № 12340. Подписано в печать 12.04.2016. Формат 70×100/16.
Гарнитура «News GothicC». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 22,1. Уч.-изд. л. 18,0. Тираж 500 экз.

ООО «Издательство «КноРус».
117218, г. Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2.
Тел.: 8-495-741-46-28.
E-mail: office@knorus.ru http://www.knorus.ru

Отпечатано в ПАО «Т8 Издательские Технологии».
109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5.
Тел.: 8-495-221-89-80.

ISBN 978-5-406-05506-9

© Нуреев Р.М., Латов Ю.В., 2016
© ООО «Издательство «КноРус», 2016

Оглавление

Введение. Институциональный подход к экономической истории 7
«Большие теории» общественного развития 8
Институционализм и клиометрика как парадигмы современной историко-экономической науки 11
Успехи и провалы новой экономической истории 15
Теория зависимости от траектории предшествующего развития 17
Институциональная экономическая история как конкуренция институтов 20

ГЛАВА 1. КОГДА И ПОЧЕМУ РАЗОШЛИСЬ ПУТИ РАЗВИТИЯ РОССИИ И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ (ПОДХОД С ПОЗИЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ) 25

1.1. Власть-собственность как базовый институт российской средневековой цивилизации 25
Формационная методология анализа социально-экономической истории российской цивилизации 25
Дискуссия об азиатском способе производства в средневековой России 28
Монополизация государством функций в общественном разделении труда как основа развития власти-собственности в средневековой России 30
Ограниченность частновладельческих прав в средневековой России 32

1.2. Производственная среда российской цивилизации 37
Общая типология экономических ресурсов 37
Мобилизационно-коммунальная среда российского земледелия 39
Историческая специфика XIII—XVII вв.: «жизнь под саблей» в малый ледниковый период 43

1.3. Импорт институтов в средневековой России 46
Киевская Русь — периферия Европы 46

Импорт в Россию институтов «восточного деспотизма» ... 52
Импорт институтов западноевропейского феодализма ... 56
Гетерогенность российской средневековой цивилизации ... 59

1.4. Институциональная конкуренция в средневековой России ... 61
Альтернатива Господина Великого Новгорода ... 61
Альтернатива Великого княжества Литовского ... 63
Альтернатива казачества ... 64

ГЛАВА 2. ОТ «ВОСТОЧНОГО ДЕСПОТИЗМА» К «СРЕДНЕСЛАБОМУ КАПИТАЛИЗМУ»: ОБОРВАННЫЙ ПУТЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ РОССИИ ... 68

2.1. Россия во втором «эшелоне» развития капитализма ... 68
Первый «эшелон», от которого Россия отстала ... 69
Второй «эшелон» в погоне за первым ... 71

2.2. Иван Посошков как зеркало имперской модернизации ... 73
«Книга о скудости и богатстве» как памятник простонародной экономической мысли ... 73
Богатство и скудость российской экономической ментальности ... 75

2.3. Противоречивый путь «освобождения дворян» ... 78

2.4. Незавершенное «освобождение крестьян» ... 81
Освобождение крестьян от помещиков ... 81
Освобождение крестьян от общины ... 84

2.5. Успехи и границы аграрной модернизации ... 86
«Развитие капитализма в России»: подход В.И. Ленина ... 86
Критика подхода В.И. Ленина ... 88
«Развитие капитализма в России»: подход А.В. Чаянова ... 90

2.6. Успехи и границы промышленной модернизации ... 92
Россия — четвертая крупнейшая промышленная держава ... 92
Парадоксы «традиционного предпринимательства» ... 97

2.7. Итоги имперской модернизации ... 100
Капитализм, но «среднеслабый» ... 100
Первая мировая война как финальный экзамен ... 102
Революционное нетерпение против реформаторской постепенности ... 103

ГЛАВА 3. МЕЖДУ «РЕАЛЬНЫМ СОЦИАЛИЗМОМ» И «ВОСТОЧНЫМ ДЕСПОТИЗМОМ»: ЛАБИРИНТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОЙ РОССИИ ... 107

3.1. Становление советской экономики как результат институциональной конкуренции ... 107
Бифуркации Гражданской войны ... 108

Альтернативы Великого перелома ... 112

3.2. Вторая мировая война как момент истины советского режима ... 117
СССР как звено «новой Антанты» ... 117
Взаимопомощь членов «новой Антанты» ... 120

3.3. «Зияющие высоты» системы советского планирования ... 122
Неограниченное планирование — ограниченная планомерность ... 122
Планирование диспропорций ... 125
Монополизм как метод уменьшения «провалов планирования» ... 129

3.4. Двойной дуализм институтов «социалистической» собственности ... 131
Официальная власть-собственность государства-класса ... 132
Теневая власть-собственность ... 137

3.5. В поисках «демократического социализма» ... 140

ГЛАВА 4. ПОСТСОВЕТСКОЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: В ПОИСКАХ ВЫХОДА ИЗ КОЛЕИ ВЛАСТИ-СОБСТВЕННОСТИ ... 146

4.1. «Потеря старого мира без приобретения нового» ... 147

4.1.1. Радикальные экономические реформы как «кавалерийская атака» на социализм ... 147
Предпосылки «гайдароэкономики» ... 147
Приватизация как «революция сверху» ... 150

4.1.2. Издержки радикальных экономических реформ ... 153
Номенклатурный характер приватизации ... 153
Потеря перспективы реформ ... 155
Общие результаты реформ ... 156

4.1.3. «Российская драма» ... 159
Сущность «российской драмы» ... 159
Интерпретации «российской драмы» ... 162

4.2. «Созидательная работа едва видна за грудой развалин» ... 165

4.2.1. Постсоветские домохозяйства на пути от выживания к развитию ... 166
Нерыночное приспособление к рынку ... 166
«Азиатские» противоречия в обществе рыночного хозяйства ... 168

4.2.2. Постсоветские фирмы на пути от «развития» к «выживанию» ... 173
Исчезнувшая экономика бартера ... 173
Сохранившаяся экономика непроизводительного предпринимательства ... 175
Элементы «созидательной работы» ... 179

4.2.3. Государство, которое по-прежнему «сильнее, чем общество» ... 182
Формирование новой легальной власти-собственности ... 184
Институциональная коррупция как нелегальная власть-собственность ... 190

ГЛАВА 5. ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ? (СВЕТ И ТЕНИ КОНЦЕПЦИЙ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ) 199

5.1. Мифотворчество начала XXI века 200

5.1.1. Россия в глазах Запада 200

Будущее глазами Национального совета по разведке США: «глобальные тенденции до 2025 года» 200

Прогноз Института стратегиии и конкурентоспособности Гарвардской бизнес-школы 201

Прогноз RAND Corporation 203

5.1.2. Россия в собственных глазах 206

«Русское экономическое чудо: сделаем сами» 206

Преимущества и недостатки «Концепции 2020» 206

Прогноз Института экономических стратегий 209

Три сценария развития Е.Г. Ясина 211

«Стратегия 2020: новая модель роста — новая социальная политика» 212

5.2. Чем больна Россия? (экономический диагноз в свете больших циклов конъюнктуры) 216

Симптом первый 217

Симптом второй 222

Симптом третий 233

Симптом четвертый 238

Угроза осложнения 240

Симптом пятый 242

Симптом шестой 246

Заключение. И все-таки она... 250

Вопросы для повторения 254

Литература 257

Abstract 265

Приложение 1. Методические указания для преподавателя ..... www.book.ru

Приложение 2. Учебно-методические указания для студентов ..... www.book.ru

Приложение 3. Тесты, задачи и практические задания ..... www.book.ru

ВВЕДЕНИЕ

Институциональный подход к экономической истории

Изучение закономерностей социально-экономической истории России необходимо не только из соображений национального самопознания, но и потому, что она неразрывно связана с одной из главных теоретических проблем обществоведения — различием восточного и западного путей развития.

Еще до монголо-татарского нашествия XIII в. социально-экономическое развитие России (точнее, ее предшественницы — Киевской Руси) сильно отличалось от западноевропейского. Русское государство XIII—XVII вв. (именно этот период принято считать временем этногенеза русских — этнического ядра современных россиян) еще более отдалилось от западного пути развития, приближаясь к «восточному деспотизму». В эпоху Петра I сложилось ощущение, что «русские — азиаты в Европе и европейцы в Азии». При этом сами россияне (в первую очередь представители российской элиты) считали себя скорее «европейцами в Азии», форпостом европейской цивилизации, а вот европейцы глядели на россиян, напротив, как на «азиатов в Европе», угрозу европейской культуре.

Колебание между восточной и западной моделями развития проходит красной нитью через всю российскую историю. Многократно (последний раз — в самом конце XX в.) Россия демонстрировала желание стать «нормальной» европейской страной, но получалось «как всегда». Исторический опыт России показывает, с каким трудом осуществляется европеизация даже на окраине самой Европы. Поскольку Россия совмещает черты «отсталого Запада» и «передового Востока», то анализ ее социально-экономической истории помогает понять объективную ограниченность западного пути развития.

Предлагаемая авторами данной монографии трактовка развития российской цивилизации является попыткой синтезировать различные подходы к социально-экономической истории России, связанные прежде всего с институциональной теорией и сфокусированные на проблеме формирования «генетического кода» развития российской цивилизации[1].

[1] Данная монография является логическим продолжением и обобщением ряда предшествующих публикаций авторов: *Нуреев Р.М., Латов Ю.В.* Когда и почему разошлись пути развития России и Западной Европы (подход с позиции институциональной экономической истории) // Мир России. 2011. № 4; *Нуреев Р.М., Латов Ю.В.* От «восточного деспотизма» к «среднеслабому капитализму»: оборванный путь институционального развития императорской России // Мир России. 2013. № 4; *Нуреев Р.М., Латов Ю.В.* Между «реальным социализмом» и «восточным деспотизмом»: лабиринты институционального экономического развития Советской России // Мир России. 2014. Т. 23. № 3; *Нуреев Р.М., Латов Ю.В.* Постсоветское институциональное развитие: в поисках выхода из колеи власти-собственности // Мир России. 2015. Т. 24. № 2. Изложение взглядов авторов на глобальную институциональную экономическую историю было ранее дано в монографии: *Нуреев Р.М., Латов Ю.В.* Россия и Европа: эффект колеи (опыт институционального анализа истории экономического развития). Калининград, 2010.

«Большие теории» общественного развития

Рассмотрим прежде всего, каковы в принципе возможные парадигмальные подходы к пониманию закономерностей историко-экономического развития.

Если внимательно присмотреться к современному развитию общественных наук, то выясняется, что мнение о смерти «больших теорий» несколько преувеличено. В мировом обществоведении можно встретить не менее полудюжины научных парадигм, претендующих в той или иной степени на статус «большой теории», одни из которых имеют более чем столетнюю биографию, другие же родились в последние десятилетия (табл. В.1).

Таблица В.1
Современные «большие теории» общественного развития

«Большие теории»		Создатели и последователи	Типология экономических систем
Марксизм (с 1860-х гг.)		К. Маркс; В.И. Ленин, К.-А. Виттфогель; В.П. Илюшечкин, Ю.И. Семенов, Р.М. Нуреев	Ортодоксальная версия: первобытность, рабство, феодализм, капитализм, коммунизм. В неортодоксальных версиях предлагается выделять иные типы — азиатский способ производства, рентный способ производства, экономическую общественную формацию и др.
Цивилизационные теории	Цивилизационно-конфессиональные (с 1900-х гг.)	М. Вебер; С. Хантингтон; В.С. Магун	По культурно-конфессиональным ареалам: западная христианская, восточная христианская, конфуцианская, исламская и др.
	Цивилизационно-национальные (с 1930-х гг.)	А. Тойнби; Р. Ла Порта, Г. Хофстед, Ф. Фукуяма; Н.С. Розов	По культурно-национальным ареалам: англо-саксонская, европейско-континентальная, дальневосточная и др. По странам: французская, шведская, германская, американская, японская, российская и др.
Теория форм обмена (с 1940-х гг.)		К. Поланьи; Дж. Дальтон, М. Салинз; Н.А. Розинская	Реципрокность, редистрибуция, рынок
Постиндустриального общества (с 1960-х гг.)		Д. Белл; О. Тоффлер, М. Кастельс; В.Л. Иноземцев	Доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальное общество
Мир-системный анализ (с 1970-х гг.)		И. Валлерстайн; Ф. Бродель, Дж. Арриги, А. Франк; Б. Кагарлицкий	Локальные общности, мир-империи (древнеперсидская, древнеримская, арабская, испанская и др.), мир-экономики (финикийская, средневековo-европейская, средневековo-арабская, европейская капиталистическая и др.)
Новая экономическая история (с 1980-х гг.)		Д. Норт; А. Греф, Д. Уоллес	Первобытный строй, социальный строй с ограниченным доступом, социальный строй с открытым доступом

Во-первых, это имеющая много разновидностей (включая, скажем, «ревизионистскую» концепцию К.-А. Виттфогеля[1]) марксистская традиция анализа сменяющих друг друга способов производства (от первобытности до капитализма и далее) как прогрессивной эволюции производственных отношений под влиянием развития производительных сил. В постсоветской России эта традиция представлена, например, трудами В.П. Илюшечкина, Ю.И. Семенова, Р.М. Нуреева[2].

Во-вторых, очень популярен идущий от работ М. Вебера[3] и А. Тойнби[4] цивилизационный (хозяйственно-культурный) подход. Этот подход имеет две ветви: последователи Вебера типологизируют цивилизации по конфессиональному критерию, последователи Тойнби — по этническому и национальному. В любом случае признается, что тип национальной (или региональной) модели экономики определяется духовно-культурными (ментальными) ценностями. В нашей стране развитием подходов в духе М. Вебера занимается, например, В.С. Магун[5], а цивилизационные концепции современных последователей А. Тойнби пропагандирует Н.С. Розов[6]. К этому направлению помимо историков, дискутирующих о критериях классификации и количестве цивилизаций прошлого, примыкают компаративисты, занимающиеся сравнением по самым разным критериям современных национальных моделей экономики. Среди этих компаративистов можно встретить представителей буквально всех общественных наук — и экономистов (скажем, Р. Ла Порту и его коллег по new comparative economics[7]), и специалистов по социальной психологии (Г. Хофстеда, Ф. Тромпенаарса[8] и других), и социологов (Ф. Фукуяму[9]), и политологов (С. Хантингтона[10]).

В-третьих, продолжает жить и развиваться сформулированная К. Поланьи концепция развития отношений реципрокности, редистрибуции и торговли как специфических форм обмена в условиях общественного разделения труда. Эта концепция немного не «дорастает» до полноценной «большой теории», поскольку, несмотря на «бестселлерную» популярность работ К. Поланьи[11], в них трудно найти связное изложение модели исторически развивающихся экономических систем. Однако такую модель достроить вполне можно,

---

[1] См., например: *Плискевич Н.М.* «Власть-собственность» в современной России: происхождение и перспективы мутации // Мир России. 2006. Т. 15. № 3. С. 62—113. Здесь и далее при обзоре концепций сознательно даются ссылки только на русскоязычные издания.

[2] *Илюшечкин В.П.* Теория стадийного развития общества: История и проблемы. М. : Восточная литература, 1996; *Семенов Ю.И.* Философия истории. М. : Современные тетради, 2003; *Нуреев Р.М.* Экономический детерминизм и его критика Карлом Поланьи // «Великая трансформация» Карла Поланьи: прошлое, настоящее, будущее / под общ. ред. проф. Р.М. Нуреева. М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006.

[3] *Вебер М.* Протестантская этика и дух капитализма. М., 2002.

[4] *Тойнби А.* Постижение истории. М. : Прогресс, 1998.

[5] См., например: *Магун В.С.* Российские трудовые ценности в идеологии и массовом сознании // Мир России. 1998. № 4; *Магура М.И., Магун В.С.* Шкала протестантской трудовой этики и опыт ее применения в российских организациях // Российское предпринимательство: стратегия, власть, менеджмент. М. : Изд-во института социологии РАН, 2000; *Магун В.С.* Трудовые ценности экономически активного населения // Мы и они. Россия в сравнительной перспективе. М. : Ин-т экономики переходного периода, 2005.

[6] Время мира. Вып. 2. Структуры истории / под ред. Н.С. Розова. Новосибирск : Сибирский хронограф, 2001.

[7] См., например: *Ла Порта Р., Лопес-Де-Силанес Ф., Шлейфер А.* Корпоративная собственность в различных странах мира // Российский журнал менеджмента. 2005. Т. 3. № 3.

[8] *Тромпенаарс Ф., Хампден-Тернер Ч.* Национально-культурные различия в контексте глобального бизнеса. Минск, 2004; *Латов Ю.В., Латова Н.В.* Открытия и парадоксы этнометрического анализа российской хозяйственной культуры по методике Г. Хофстеда // Мир России. 2007. № 4.

[9] *Фукуяма Ф.* Конец истории и последний человек. М. : АСТ ; Ермак, 2004.

[10] *Хантингтон С.* Столкновение цивилизаций. М. : АСТ, 2005.

[11] *Поланьи К.* Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени. СПб. : Алетейя, 2002.

что отчасти попытались сделать, например, авторы книги «„Великая Трансформация“ Карла Поланьи»[1]

В-четвертых, самой известной является разрабатываемая в трудах экономистов-социологов (Д. Белла, О. Тоффлера и других) теория постиндустриального общества. Хотя она концентрируется на современной эпохе, в ней легко можно найти модель и глобального исторического развития (например, в форме выделенных О. Тоффлером трех «волн»[2]), правда, слишком эскизную. Данную парадигму можно рассматривать как модернизированный вариант марксистской теории способов производства, особенно если воспринимать эту теорию не в упрощенных версиях советской эпохи (типа «концепции-пятичленки»), а по произведениям самого К. Маркса. Эта близость «постиндустриализма» к марксизму хорошо видна, в частности, по работам В.Л. Иноземцева, посвященным постэкономическому обществу[3].

В-пятых, очень популярным стал разработанный в трудах И. Валлерстайна[4] и ряда его единомышленников (Ф. Бродель, Дж. Арриги)[5] мир-системный подход, обращающий главное внимание на взаимовлияние и взаимообусловленность развития национальных экономик как элементов единой геоэкономической/геополитической системы. Разработчики этой парадигмы начинали, как и «постиндустриалисты», с объяснения современной эпохи (точнее, с эпохи нового времени), но затем стали активно использовать ее и для анализа более отдаленных эпох. В результате в настоящее время «мир-системщики» работают со всей историей цивилизации за последние несколько тысяч лет. В России эта парадигма встречает как критиков (А.И. Фурсов)[6], так и поклонников, применяющих мир-системный анализ для объяснения закономерностей развития российской «периферийной империи» (Б. Кагарлицкий)[7].

В-шестых, относительно новой парадигмой теории экономических систем является «новая экономическая история» лауреата Нобелевской премии по экономике Д. Норта[8]. Эта концепция интерпретирует эволюцию как прогресс институтов, («правил игры»), который ведет к снижению трансакционных издержек. Данная теория развивается на наших глазах. Хотя Д. Норт начинал, как и И. Валлерстайн, с анализа нового времени[9], в последние годы он настойчиво пытается создать общую теорию эволюции экономических систем как переход от первобытного строя сначала к «социальному строю с ограниченным доступом»,

[1] «Великая трансформация» Карла Поланьи: прошлое, настоящее, будущее / под общ. ред. проф. Р.М. Нуреева. М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006.

[2] *Тоффлер О.* Третья волна. М. : АСТ,1999.

[3] *Иноземцев В.Л.* К теории постэкономической общественной формации. М. : Таурус ; Век, 1995; *Иноземцев В.Л.* Очерки истории экономической общественной формации. М. : Таурус ; Век, 1996; *Иноземцев В.Л.* За пределами экономического общества. М. : Academia-Наука, 1998.

[4] *Валлерстайн И.* Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб. : Университетская книга, 2001; *Валлерстайн И.* Конец знакомого мира: Социология XXI в. М. : Логос, 2003.

[5] *Бродель Ф.* Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV—XVIII вв. В 3-х т. М. : Прогресс, 1986—1992 (М. : Весь мир, 2006); *Арриги Дж.* Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени. М. : Территория будущего, 2006.

[6] *Фурсов А.И.* Школа мир-системного анализа: Основные положения концепции И. Валлерстайна // Восток. 1992. № 1.

[7] *Кагарлицкий Б.* Периферийная империя: Россия и миросистема. М. : Ультра ; Культура, 2004.

[8] «Новую экономическую историю» Д. Норта необходимо отличать от клиометрической «новой экономической истории» Р. Фогеля, которая развивается по принципу «метод ищет применения» и не претендует на статус «большой теории». См.: *Нуреев Р.М., Латов Ю.В.* Институционализм в новой экономической истории // Институциональная экономика : учебник / под общ. ред. А. Олейника. М. : ИНФРА-М, 2005. М. : РЭА, 2007.

[9] *Норт Д.* Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М. : НАЧАЛА, 1997.

а затем к «социальному строю с открытым доступом»[1]. Эта институциональная парадигма еще не нашла в России активных сторонников.

Наряду с перечисленной «великолепной шестеркой» «больших теорий»[2] есть еще немало теорий, так сказать, среднего уровня. «Средние теории» тоже рассматривают отдельные глобальные, многовековые тенденции общественного развития, однако сами по себе не могут привести к созданию оригинальной типологизации экономических систем. К числу таких «средних теорий» относятся, например, складывающаяся с 1990-е гг. и связанная с синергетической парадигмой теория зависимости от предшествующего развития (П. Дэвид, Б. Артур), которая анализирует ситуации случайного/сознательного выбора новых стратегий развития в бифуркационных точках[3]. У нас в России ярким примером «средних теорий» является социоестественная история (Э.С. Кульпин, С.А. Нефедов, Л.В. Милов[4]), изучающая развитие человечества в контексте его взаимодействия с биосферой.

Таким образом, на наш взгляд, правильнее говорить не об окончании эпохи «больших теорий», а о временной паузе между «уходом» одной доминирующей метатеории (каковой долгое время в явной или неявной форме был марксизм) и «приходом» другой. Такие паузы заметны в истории наук не реже, чем прямое вытеснение старой теории новой. Например, если приводить примеры из истории экономической науки, то между осознанием кризиса классической политэкономии и победой неоклассики прошла полувековая пауза (1840—1890-е гг.), во время которой за роль альтернативной парадигмы конкурировали немецкая историческая школа, марксизм, камералистика и иные теории. Примерно такая же пауза наблюдается сейчас в историко-экономической науке.

Тем не менее хотя теории-«гегемона» нет, можно говорить об определенной преобладающей тенденции в развитии подходов к пониманию социально-экономической истории человечества.

Институционализм и клиометрика как парадигмы современной историко-экономической науки

Практически все ранее популярные и существующие в наши дни теории экономической истории были созданы в рамках или под влиянием леворадикальных экономических теорий — марксизма и традиционного институционализма. Это может показаться парадоксальным: ведь леворадикальная экономическая мысль никогда не входила в «мэйнстрим» экономической науки. Однако такое бесплодие классических и неоклассических теорий, которые в других сферах экономических знаний играли и все еще играют ведущую роль, глубоко закономерно.

Дело в том, что *парадигма классического либерализма (классика и неоклассика) принципиально антиисторична*. Она склонна выдавать законы и институты развитого рыночного хозяйства за универсальные, «искони присущие человеческой природе». Считая рынок

[1] См., например: *Норт Д., Уоллес Д., Вейнгаст Б.* Концептуальный подход к объяснению истории человечества // Эковест. 2007. № 1 (URL : http://research.by/pdf/2007n1r01.pdf

[1]; Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2011.

[2] Следует учитывать, что грани между разными парадигмами и внутри них не очень четкие. Поэтому число «больших теорий» можно несколько увеличить, если учитывать, например, отраженные в табл. В-1 различия двух ветвей цивилизационного анализа, а также не отраженные в ней полемизирующие друг с другом направления марксистской и мир-системной парадигм.

[3] *Дэвид П.* Клио и экономическая теория QWERTY // Истоки: из опыта изучения экономики как структуры и процесса. М. : Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2006.

[4] *Кульпин Э.С.* Бифуркация Запад — Восток: Введение в социоестественную историю. М. : Московский лицей, 1996; *Милов Л.В.* Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М. : РОССПЭН, 1998; *Нефедов С.А.* Концепция демографических циклов. Екатеринбург : Изд-во УГГУ, 2007.

вечным и повсеместным, она делает невозможным понимание нерыночных (дорыночных и пострыночных) общественных отношений. Классический либерализм эффективен главным образом для изучения «истории современности» — для экономической истории пары самых последних веков. За этими пределами его креативные возможности сильно ограничены.

Чтобы понять, почему институционалисты устойчиво проявляют высокий интерес к экономической истории, вспомним смысл ключевого для них понятия *институт*.

Когда в 1918 г. Уилтон Гамильтон ввел это понятие, он определял институт как «распространенный способ мышления или действия, запечатленный в привычках групп и обычаев народа»[1]. С его точки зрения институты фиксируют устоявшиеся процедуры, отражают общее согласие, сложившуюся в обществе договоренность. Позже под институтами понимались обычаи, корпорации, профсоюзы, государство и т.д. В наши дни под институтами обычно понимают «*правила игры в обществе*» (созданные людьми ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми), а также *системы мер (организации), обеспечивающие выполнение этих правил*. Институты создают структуру побудительных мотивов взаимодействия людей, уменьшают неопределенность, организуя повседневную жизнь.

Таким образом, институционалисты принципиально рассматривают ныне существующие хозяйственные практики не как нечто вечное и «естественное», а как лишь как один из многих известных в истории наборов «правил игры». Поэтому для историков институциональные экономические теории являются естественной опорой, а мышление институционалистов всегда имеет исторический характер. Эта тесная связь именно с институциональным «экономиксом» сохраняется на протяжении всей истории историко-экономической науки, вплоть до наших дней.

Институционализм как научная парадигма развивается на границах собственно экономической науки и «соседних» общественных наук. Она представляет собой либо применение методов этих наук к анализу экономики («старый» институционализм), либо, наоборот, применение экономических методов к анализу проблем этих «соседних» наук (неоинституционализм).

Развитие институциональной экономической истории отражает общие тренды развития институционализма.

В первой половине XX в., в эпоху «старого» институционализма, работали такие ученые, чьи труды имеют среди историков-экономистов огромную популярность и в наши дни, как М. Вебер, В. Зомбарт, К. Поланьи, Н. Элиас. Все эти обществоведы использовали для изучения экономической истории (главным образом истории генезиса капитализма) социологические методы. Во второй половине XX в. социологический подход к экономической истории продолжал развиваться в концепциях К.-А. Виттфогеля, представителей экономической антропологии (М. Салинз, Е. Сервис) и мир-системного анализа (И. Валлерстайн, Ф. Бродель). Их идеи оказывают сильное влияние (особенно это относится к концепциям К. Поланьи и мир-системного анализа) на развитие теории экономической истории и в наши дни, в начале XXI в. Однако когда в рамках собственно институционализма «старых» институционалистов потеснили неоинституионалисты, аналогичная тенденция проявилась и в теории экономической истории.

Уже в 1950-е гг. социологический «вызов» породил «ответ» профессиональных экономистов. Речь идет о возникшем в США научном направлении, которое называют новой экономической историей (new economic history) и клиометрикой (cliometrics). Выражением высокого авторитета этого направления стало присуждение в 1993 г. Дугласу Норту и Роберту Фогелю, двум его самым выдающимся представителям, Нобелевской премии по экономике.

[1] *Hamilton W.* Institution: Encyclopedia of the Social Sciences. N.Y., 1932. Vol. VIII. P. 84.

Новая экономическая история на начальном этапе (примерно до 1980-х гг.) развивалась как «заговор молодых технарей против респектабельных ученых»[1]. «Молодые технари» начали активно использовать компьютерный анализ исторической статистики. Основными темами для них стали сначала почти исключительно вопросы экономической истории США XIX в.: экономика рабства на Юге до Гражданской войны, транспортная революция второй половины XIX в., формирование национального рынка труда, экономические кризисы. Позже, конечно, произошло как расширение тематики исследований американских историков-экономистов, так и «экспорт» идей новой экономической истории из США в другие страны.

Хотя выражения «новая экономическая история» и «клиометрика» часто употребляют как синонимичные и причисляют их к институциональной экономической истории, на самом деле они совсем не тождественны.

Клиометрику определяют как «применение экономической теории и количественных методов для описания и объяснения исторических процессов и явлений в сфере экономического развития», т.е. как соединение идей истории, экономики и статистики[2]. Чисто логически легко понять, что на стыке этих трех наук могут развиваться самые различные версии экономической истории, во многих отношениях принципиально друг от друга отличающиеся (рис. В.1).

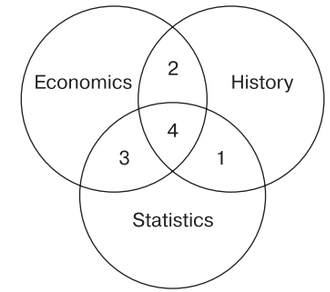


Рис. В.1. Взаимодействие экономической теории, исторической и статистической наук: 1 — квантитативная история без «экономикса»; 2 — теоретическая экономическая история без экономико-математического моделирования; 3 — теоретическая экономическая история с экономико-математическим моделированием; 4 — эконометрика (к клиометрике относятся области 1 и 3, к новой экономической истории — 1, 2, 3)

Во-первых, возможно соединение исторической науки со статистикой без участия экономической теории (область 1 на рис. В.1). Это те направления квантитативной (количественной) истории, которые изучают развитие политических процессов, влияние климата на историю, занимаются контекст-анализом исторических документов, рассматривают долгосрочные мегатренды исторического роста и т.д. Основоположниками этой версии клиометрики можно считать российских ученых 1920-х гг. — А.Л. Чижевского, который

[1] *Williamson S.H.,* 1994. The History of Cliometrics // Two Pioneers of Cliometrics. Robert W. Fogel and Douglass C. North (Nobel Laureates of 1993.). Miami University, Oxford, Ohio, 1994. P. 114.

[2] Уильямсон С. История клиометрики в США. С. 76, 78.

открыл количественную корреляцию между циклами солнечной активности и интенсивностью исторических событий («Физические факторы исторического процесса», 1924), и Н.Д. Кондратьева, доказавшего путем обработки больших баз исторической информации существование «длинных волн конъюнктуры» («Большие циклы конъюнктуры», 1925). Хотя в России их идеи оказались вплоть до конца 1980-х гг. исключенными из широкого научного дискурса, в зарубежной экономической истории они нашли многих последователей. Можно вспомнить также многочисленные труды по истории национальных счетов — работы А.Л. Вайнштейна, П. Грегори, В.А. Мельянцева и других[1]. Клиометрика без «экономикса» представлена и «поздним» Р. Фогелем, ушедшим в экономическую антропологию[2]. В СССР и в постсоветской России наибольшее развитие получила именно эта версия количественной истории (зародившаяся в 1960-е гг., лишь немногим позже американской клиометрики, школа И.Д. Ковальченко[3]). К институционализму все эти течения прямого отношения не имеют, хотя их теоретические находки очень часто важны именно для институциональной интерпретации истории экономики.

Во-вторых, возможно соединение истории с экономической теорией без использования инструментов экономико-математического анализа (область 2). Собственно говоря, любая теория экономической истории обязательно опирается на какую-либо парадигму «экономикса» — вовсе не обязательно на институциональную. С. Кузнеца и У. Ростоу не принято причислять к новой экономической истории, но в их работах 1950—1960-х гг. также использовались экономические теории (и даже с элементами экономико-математического моделирования) для анализа аспектов экономической истории, связанных с экономическим ростом. В трудах этих ученых нашел отражение кейнсианский подход к экономической истории. Впоследствии он, однако, развития не получил, «новые экономисторики» взяли на вооружение в большей степени идеи и методы неоклассики. Другое дело, что любая экономическая теория, будучи «опрокинутой в прошлое», обязательно подвергается подспудной институционализации. Яркий тому пример — «Теория экономической истории» Д. Хикса (1969)[4]: написанная для демонстрации позитивных возможностей неоклассической теории (но без математического аппарата), эта работа показала, что экономическая история как целое не может интерпретироваться без хотя бы упоминания институциональных инноваций[5]. Примером сознательного использования институциональной теории для создания целостной картины исторической эволюции практически без клиометрики являются труды «зрелого» Д. Норта.

В-третьих, возможно соединение воедино используемой для исторического анализа экономической теории и экономико-математических методов (область 3). Именно эта область составляет ядро современной клиометрики. Лидером данного направления является

[1] См., например: *Вайнштейн А.Л.* Народное богатство и народнохозяйственное накопление предреволюционной России : статистическое исследование. М., 1960; *Gregory P.R.* Russian National Income, 1885—1913. Cambridge, L., N.Y., 1982; *Мельянцев В.А.* Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и современность. М., 1996.

[2] См., например: *Fogel R.W.* Economic Growth, Population Theory, and Physiology: The Bearing of Long-Term Processes on the Making of Economic Policy // American Economic Review. 1994. Vol. 84. № 3. P. 369-395; *Fogel R.W.* Secular Trends in Physiological Capital: Implications for Equity in Health Care // NBER Working Papers. 2003. № 9771.

[3] Программной работой, пропагандирующей в России возможности математического анализа первичных исторических данных с целью выявления скрытой информации, стала его книга: *Ковальченко И.Д.* Методы исторического анализа. М., 1987, 2003. По инициативе И.Д. Ковальченко с конца 1970-х гг. проходили российско-американские симпозиумы историков клиометрической специализации.

[4] *Хикс Д.* Теория экономической истории / общ. ред. и вступ. ст. Р.М. Нуреев. М. : НП «Журнал Вопросы экономики», 2003.

[5] *Латов Ю.В.* Может ли экономическая история не быть институциональной? // Вопросы экономики. 2004. № 2.

Р. Фогель[1], «ранний» Д. Норт тоже работал в этой парадигме. Поскольку «мэйнстрим» современной экономической теории образует неоклассика, то в клиометрике тоже доминируют неоклассические идеи[2]. Однако клиометрический инструментарий в наши дни активно используют и те экономисты, кто привержен совсем другим концепциям, оппозиционным неоклассике (например, приверженцы мир-системного подхода).

Успехи и провалы новой экономической истории

Можно сказать, что современная историко-экономическая теория развивается под доминирующим влиянием двух подходов новой экономической истории — «фогелевского» и «нортовского».

Различия между ними основаны на том, что если клиометрики во главе с Р. Фогелем делают акцент на новых для историков *приемах экономико-математического анализа*, то последователи «зрелого» Д. Норта делают акцент на применении принципиально нового для историков неоинституционального *понятийного аппарата* (права собственности, трансакционные издержки и т.д.). Таким образом, «нортовская» экономическая история имманентно институциональна. Что же касается «фогелевской» экономической истории, то она непосредственно институциональной не является, но допускает институциональную интерпретацию. «Фогелевский» подход является более ранним, «нортовский» — более поздним.

Рассмотрим, каковы достоинства и недостатки этих двух течений новой экономической истории.

Главной заслугой Р. Фогеля и его коллег является, конечно, радикальное обновление методов историко-экономических исследований. Ранее в литературе по экономической истории преобладали чисто логические концепции (типа, например, закона относительного обнищания пролетариата у К. Маркса) и подтверждающие их отдельные примеры. Теперь историки стали собирать базы количественных данных (по ценам, зарплате, объему грузопотоков, величине производства разных товаров) и обрабатывать их эконометрическими методами. Для углубления понимания проблем экономической истории пригодились едва ли не все модели «экономикса» — кривые безразличия, модель Кобба — Дугласа, кривая Кузнеца, модель Харриса — Тодаро, кривая Филлипса... В наши дни специалист по экономической истории, не владеющий методами статистического анализа и эконометрики, постепенно становится анахронизмом.

Фогель и его сторонники прямо никогда не подчеркивают своей связи с институциональной традицией: ведь клиометрики «молятся» числам, а «старый» институционализм, наоборот, возник как протест против экономико-математического формализма. Однако объективно они часто доказывают как раз необычайно высокое значение институциональных, неэкономических факторов экономической истории. В качестве примера можно сослаться хотя бы на выводы Р. Фогеля по поводу экономики американского рабства, сделанные в книге «Экономика на кресте» (1974)[3] и последующих трудах: по его мнению, влияние моральных норм перевесило чисто экономическую рациональность, поскольку

[1] Характерно название одной из его программных статей — «Реунификация экономической истории с экономической теорией» (*Fogel R.* The Reunification of Economic History with Economic Theory // American Economic Review. 1965. Vol. 55. № 2. P. 92—98).

[2] «Новая экономическая история базируется на двух краеугольных камнях — неоклассической экономической теории и количественных методах» (*North D.C.* The new economic history after twenty years // American Behavioral Scientist. 1977. Vol. 21. № 2. P. 188).

[3] *Fogel R.W., Engerman S.L.* Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery. New York: Little, Brown, 1974. Vol. 1—2.

американцы разрушили эффективный рабовладельческий уклад под влиянием не стремления к материальной выгоде, а преимущественно нравственных побуждений. Таким образом, подспудно исследования клиометриков дают очень весомый аргумент именно экономистам-институционалистам.

Однако отказ от сознательного использования институционального подхода часто играет с клиометриками «фогелевского» направления злую шутку. Один из важнейших принципов институционализма, установка на комплексный подход, клиометриками не воспринимается, в результате чего их многочисленные яркие «находки» не всегда складываются в достоверную целостную картину. Например, при изучении причин Гражданской войны «фогелевцы» не обращают внимания на геоэкономический фактор: различия между Севером и Югом угрожали целостности Соединенных Штатов как единого государства, а «парад суверенитетов» неминуемо понижает национальную экономическую эффективность. Поэтому признание эффективности экономики рабства совсем не обязательно связывать с «высокой моралью» американцев; отмена рабства, скорее, делает честь их умению соразмерять краткосрочные потери и долгосрочные выгоды.

Эта негативная особенность «фогелевской» новой экономической истории, использование экономико-математических методов ad hoc при отсутствии целостной теории, вполне сохранилась и даже усилилась в 1980—2000-е гг. Как справедливо указывает С.А. Ломова, «несмотря на то, что клиометристы пересмотрели большое количество общепринятых концепций в экономической истории, они были не всегда удачливы в создании новых концептуальных и теоретических построений»[1]. Можно полностью согласиться с мнением, что «для новых историко-экономических теорий необходим сильный прорыв за пределы неоклассической теории»[2], которая имманентно предназначена для изучения уже возникшего рыночного хозяйства, а не его генезиса и трансформации.

Первым клиометриком, кому удалось уже в 1970-е гг. перейти от изучения отдельных «деревьев» к анализу «леса», стал Д. Норт. Начав, как и Р. Фогель, с клиометрических исследований транспортной революции и рабства в США XIX в., Д. Норт уже в 1970-е гг. начал попытки создания целостной теории новой экономической истории. Первым опытом создания макротеории стала написанная им совместно с Р. Томасом книга «Возвышение западного мира: новая экономическая история».

В своей концепции экономического прогресса Д. Норт и Р. Томас базировались на идеях А. Смита о разделения труда как главном факторе и глубинном источнике экономического роста. Чтобы стимулировать развитие разделения, необходимы такие предпосылки, как инвестиции и инновации. Однако почему в одном случае инвестиции и новации сыграли свою роль, а в другом — нет? По мнению авторов «Возвышения западного мира», это зависит как раз от институтов, понимаемых как совокупность принятых в обществе «правил игры». Институциональная структура эффективна там и тогда, где она обеспечивает условия быстрого экономического роста, что в свою очередь зависит прежде всего и главным образом от системы прав собственности[3].

Вершиной теории новой экономической истории Д. Норта является изданная им в 1990 г. монография «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики». В этой книге он завершает переосмысление самого понятия «институты».

[1] *Ломова С.А.* Сорок лет американской клиометрики (заметки по истории научного направления) // Компьютер и экономическая история. Барнаул, 1997. С. 129.

[2] Там же. С. 130.

[3] *North D.C., Thomas R.P.* The Rise of the Western World: A New Economic History. Cambridge: Cambridge University Press, 1973. P. 2.

Ранее их трактовали главным образом как совокупность организационных структур. Новая же книга Д. Норта начиналась с чеканной формулировки: «Институты — это „правила игры“ в обществе, или… созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми»[1]. Если ранее он обращал основное внимание на влияние институтов на изменение производства, то теперь в центре его внимания оказались проблемы изменения самих институтов. Кроме того, в новой книге он обратил особое внимание на устойчивость неэффективных норм, которые далеко не всегда отмирают «сами собой» под влиянием более эффективных «правил игры».

Новая экономическая история Д. Норта убедительно свидетельствует, что для создания целостной теории экономической истории не обязательно использовать клиометрику (в теоретических трудах «зрелого» Д. Норта вообще нет ни одной формулы), но обязательно вести диалог (хотя бы и полемический) с традицией «старого» институционализма[2]. Д.Норт в своем анализе институциональных изменений как раз соединил обе традиции: как представитель «нового» институционализма, он делает акцент на большом значении правовых институтов, прав собственности; как ученый, испытавший влияние «старого» институционализма, он подчеркивает, что на трансакционные издержки сильно влияют не только формальные, но и неформальные ограничения.

Теория зависимости от траектории предшествующего развития

Трактовка институтов как сознательно и (или) стихийно складывающихся «правил игры» естественным образом ставит вопрос о том, как и почему эти правила меняются. Сторонники новой экономической истории делают акцент на сознательном выборе норм, на институциональном конструировании и экспорте институтов. Но есть и другая сторона проблемы изменчивости институтов — институциональная инерция, которая стала главным объектом изучения своего рода «новейшей экономической истории».

Речь идет о возникшей в 1980-е гг. теории Path Dependency, основы которой заложены американскими экономистами-историками Полом Дэвидом и Брайаном Артуром. Поскольку «фогелевское» и «нортовское» направления называют теориями новой экономической истории, то это более позднее научное течение можно считать «новейшей экономической историей».

Название теории Path Dependency принято в отечественной литературе переводить как «зависимость от предшествующего развития»[3]. Она тоже обращает внимание на институциональные изменения и на роль институтов в технических изменениях. Однако если в «нортовской» новой экономической истории главный акцент сделан на том революционизирующем влиянии, которое оказывают правовые инновации и изменение трансакционных издержек на социально-экономическое развитие, то в теории зависимости от предшествующего развития основное внимание обращается на инерционность развития. Иначе говоря, если последователи Д. Норта изучают, *как становятся возможны институциональ-*

[1] *Норт Д.* Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М. : НАЧАЛА, 1997. С. 17.

[2] Сам Д. Норт признал это предельно четко: «„Клиометрическая“ (описательная) экономическая история фактически „вращается“ вокруг институтов, и если за изложение берутся самые опытные специалисты, то она (история) предстает перед нами как континуум и последовательность институциональных изменений, т.е. в эволюционном виде» (*Норт Д.* Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. С. 167).

[3] Строго говоря, такой упрощенный перевод не совсем правилен, поскольку он чреват упрощением сущности явления. Все в мире зависит от прошлого в том смысле, что ничто ни возникает из ничего. Смысл теории Path Dependency в том, что возможности выбора, который делается «здесь и сейчас», жестко детерминирован выбором, сделанным «где-то и когда-то раньше».

ные инновации, то последователи П. Дэвида и Б. Артура, наоборот, — на то, *почему институциональные инновации не всегда возможны*. Кроме того, если Д. Норт при изучении институтов акцентирует внимание на правах собственности, то П. Дэвид и Б. Артур — на неформальных механизмах выбора.

Поскольку оба эти аспекта связаны друг с другом, как орел и решка, то происходит интенсивное взаимодействие и взаимообогащение этих двух институциональных теорий экономической истории. Характерно, что Д. Норт в своей книге «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики» очень оперативно откликнулся на только-только начавшие приобретать популярность идеи «новейших экономисторикoв» и включил их в свою концепцию как один из ключевых компонентов.

Формирование теории Path Dependency началась в 1985 г., когда П. Дэвид опубликовал небольшую статью[1], посвященную такому, казалось бы, мелкому вопросу, как формирование стандарта клавиатур печатающих устройств. Он доказывал, что хорошо нам знакомая QWERTY-клавиатура печатающих устройств стала результатом победы *менее* эффективного стандарта над *более* эффективными. Изучение экономической истории технических стандартов, начатое после пионерных работ П. Дэвида и Б. Артура, показало необычайно широкое распространение QWERTY-эффектов едва ли не во всех отраслях. Под QWERTY-эффектами в современной научной литературе подразумевают все виды сравнительно неэффективных, но устойчиво сохраняющихся стандартов, которые демонстрируют, что «история имеет значение».

Теория зависимости от предшествующего развития и близкие к ней научные исследования по альтернативной истории основаны на метанаучной парадигме синергетики, связанной с идеями известного бельгийского химика Ильи Пригожина (тоже Нобелевского лауреата), создателя теории самоорганизации порядка из хаоса[2]. Согласно разработанному им синергетическому подходу, развитие общества не является жестко предопределенным (по принципу «иного не дано»). На самом деле наблюдается чередование периодов эволюции, когда вектор развития изменить нельзя (движение по аттрактору), и точек бифуркации, в которых возникает возможность выбора. Когда «QWERTY-экономисты» говорят об исторической случайности первоначального выбора, они рассматривают как раз бифуркационные точки истории — те ее моменты, когда происходит выбор какой-либо одной возможности из веера различных альтернатив. Выбор в таких ситуациях практически всегда происходит в условиях неопределенности и неустойчивости баланса социальных сил. Поэтому при бифуркации судьбоносными могут оказаться даже совсем мелкие субъективные обстоятельства — по принципу «бабочки Брэдбери».

Итак, после многочисленных исследований QWERTY-эффектов историки-экономисты с изумлением обнаружили, что многие окружающие нас символы технического прогресса приобрели хорошо знакомый нам облик в результате, в общем-то, во многом случайных обстоятельств, и что мы живем вовсе не в лучшем из возможных миров.

Самая главная из новых идей, предложенных в развитие первоначальной концепции П. Дэвида, заключается в том, что победу изначально выбранных стандартов/норм над всеми другими, даже сравнительно более эффективными, можно наблюдать не только

[1] *David Paul A.* Clio and the Economics of QWERTY // American Economic Review. 1985. Vol. 75. № 2.

[2] С. Марголис и С. Либовиц в своей энциклопедической статье о Path Dependency четко указывают, что «зависимость от предшествующего развития — это идея, которая пришла в экономическую теорию от интеллектуальных движений, возникших в другой сфере. В физике и математике эти идеи связаны с теорией хаоса» (*Margolis S.E., Liebowitz S.J.* Path Dependence // The New Palgrave Dictionary of Economics and Law. Ed. by P. Newman. L.: Macmillan, 1998). См. также: *Бородкин Л.И.* «Порядок из хаоса»: концепции синергетики в методологии исторических исследований // Новая и новейшая история. 2003. № 2. С. 98—118.

в истории развития технологий, но и в истории развития институтов. В 1990-е годы появилось немало исследований, включая работы самого Дугласа Норта, развивающих это новое направление использования QWERTY-подхода. Английский ученый Д. Пуфферт прямо заявил, что «зависимость от предшествующего развития для институтов, вероятно, будет вполне подобна зависимости от предшествующего развития для технологий, поскольку обе основаны на высокой ценности адаптации к некоей общей практике (какой-либо технике или правилам), так что отклонения от нее становятся слишком дорогостоящими»[1].

Если при описании истории технических инноваций чаще пишут о QWERTY-эффектах, то в рамках анализа институциональных инноваций обычно говорят о Path Dependency — зависимости от предшествующего развития. Впрочем, оба этих термина многие используют как синонимичные. Сам П. Дэвид дал Path Dependency определение следующим образом: «зависимость от предшествующего развития — это такая последовательность экономических изменений, при которой важное влияние на возможный результат могут оказать отдаленные события прошлого, причем скорее случайные события, чем систематические закономерности»[2].

В истории развитие институтов проявления зависимости от предшествующего развития можно проследить на двух уровнях — во-первых, на уровне *отдельных институтов* (правовых, организационных, политических и т.д.), а во-вторых, на уровне *институциональных систем* (особенно национальных экономических систем).

К настоящему времени накопилось много конкретно-исторических исследований, анализирующих зависимость от предшествующего развития в формировании различных институтов — золотого стандарта, систем общего и гражданского права, центральных банков и т.д. Важный вклад в экономическую теорию институциональных изменений внес российский экономист Виктор Меерович Полтерович, рассмотревший на примерах постсоветского экономического развития (в частности, на примере бартеризации 1990-х гг.) такую любопытную разновидность зависимости от предшествующего развития, как «институциональная ловушка»[3]. Речь идет о том, что среди путей развития возможны варианты, которые более выгодны в краткосрочном периоде, однако в долгосрочном они не просто менее эффективны, чем альтернативные (зарубежные экономисты рассматривали именно такие случаи), но делают дальнейшее развитие просто невозможным.

Что касается сравнительного анализа национальных экономических систем как институциональных рамок хозяйственной эволюции, то он имеет в экономической науке довольно давнюю традицию. Можно вспомнить хотя бы хрестоматийные для российских обществоведов старшего поколения работы В.И. Ленина (например, написанную в 1908 г. «Аграрную программу социал-демократии в первой русской революции 1905—1907 годов»), посвященные сравнению прусского (юнкерского) и американского (фермерского) путей развития капитализма в сельском хозяйстве[4]. Он подчеркивал, что главным тормозом развития капитализма в России является именно феодальное наследие, которое проявляется не только в помещичьем землевладении, но и в общинном землепользовании.

[1] *Puffert Douglas J.,* 2003a. Path Dependence, Network Form and Technological Change // History Matters: Essays on Economic Growth, Technology and Demographic Change. Ed. by W. Sundstrom, T. Guinnane, and W. Whatley. Stanford: Stanford University Press, 2003 (URL : http://www.vwl.uni-muenchen.de/ls_komlos/nettech1.pdf). См. также: *David P.* Why are institutions the “carriers of history”? Path dependence and the evolution of conventions, organizations and institutions // Structural Change and Economic Dynamics. 1994. Vol. 5. № 2.

[2] *David Paul A.* Clio and the Economics of QWERTY // American Economic Review. 1985. Vol. 75. № 2. P. 332.

[3] *Полтерович В.М.* Институциональные ловушки и экономические реформы // Экономика и математические методы. 1999. Т. 35. № 2.

[4] *Ленин В.И.* ПСС. Т. 16. С. 215—219.

В зарубежной историко-экономической науке можно вспомнить, например, теорию эшелонов развития капитализма по А. Гершенкрону[1], согласно которой путь развития страны «программируется» на века вперед тем, смогла ли она прийти к капитализму самостоятельно (первый эшелон), или же внешнее влияние инициировало внутренние источники саморазвития (второй эшелон), либо капитализм остается «присадкой извне» (третий эшелон). В этом же ключе работал и Д. Норт, указывая на глубокие и труднопреодолимые различия между развитием Латинской Америки, унаследовавшей институты отсталой Испании, и Северной Америки, развивавшейся под влиянием более передовых английских институтов.

Если в работах о QWERTY-эффектах в истории техники часто подчеркивается случайность и конъюнктурность выбора победившей технологии, то у исследователей Path Dependency в развитии институтов этот мотив звучит гораздо слабее. Видимо, выбор институтов в отличие от выбора технологий носит более коллективный характер, а потому он более закономерен[2]. Оба направления родственны тем, что исследователи подчеркивают высокую инерцию общественного развития, которая делает невозможным быстрое изменение как используемых технологий, так и господствующих норм.

Применение теории зависимости от предшествующего развития к экономической истории институтов позволяет видеть их альтернативные издержки и тем самым делать выводы об эффективности выбора, сделанного в бифуркационных точках социально-экономического развития.

Институциональная экономическая история как конкуренция институтов

Особенностью современного этапа развития экономико-исторической науки, развивающейся под доминирующим влиянием новой и «новейшей» экономической истории, является превалирование эмпирических исследований над «большой теорией». В результате возникает ситуация, когда большое число интересных и важных исследований частных проблем остаются «осколками мозаики», не складываются в целостную картину исторической эволюции[3]. Ближе всех к созданию новой метатеории подошел Д. Норт, но и его синтез не завершен. Эта незавершенность заметна в его сосредоточенности главным образом на истории Нового времени, в отсутствии у него концепции фаз исторического развития. Создание новой теории экономической истории требует объединения достижений не только «нового», но и «старого» институционализма.

Есть точка зрения (ее называют «постмодерной»), согласно которой время всеобъемлющих («больших») теорий вообще прошло, им на смену приходит знание контекстуальное и фрагментарное. На наш взгляд, правильнее говорить не об окончании эпохи «больших» теорий, а о временной паузе между «уходом» одной метатеории и «приходом» другой.

[1] *Herschenkron A.* The approach to European industrialization: a postscript // Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays. Cambridge (Mass.), Harvard University, 1962. P. 353—364.

[2] Возможно, впрочем, и иное объяснение — смоделировать альтернативный вариант институциональной истории психологически труднее, чем представить иной вариант развития технологии. Достаточно обратиться к альтернативной истории как жанру научной фантастики: писатели «изобрели» паропанк (альтернативную историю Нового и Новейшего времени, где нет бензиновых двигателей), но в конструировании альтернативных институтов не могут придумать ничего оригинальнее продления или сокращения «сроков жизни» фашизма, коммунизма, либерализма, анархизма, феодализма и т.д.

[3] Н. Крафтс прямо признает «неудачи попыток сколько-нибудь полно использовать потенциал экономической науки в исторических исследованиях, и наоборот» (*Крафтс Н.Ф.Р.* Экономическая теория и история // Панорама экономической мысли конца XX столетия. В 2-х т. СПб. : Экономическая школа. Т. 2. 2002. С. 995).

Новая метатеория экономической истории призвана определенным образом синтезировать лучшие идеи конкурирующих друг с другом современных подходов к экономической истории[1]. Это возможно, поскольку эти подходы основаны на органистической трактовке общества, рассматриваемого не как сумма индивидов, а как система социальных организаций и социальных норм.

Основой такого синтеза, по нашему мнению, может стать *трактовка экономического развития как глобальной конкуренции экономических систем и институтов*, в процессе которой происходит отбор — отчасти осознанный, отчасти стихийный — наиболее эффективных путей социально-экономического развития человечества. В основе этого синтеза лежит соединение неоинституционализма Д. Норта с теорией социально-экономических систем, разрабатываемой марксистами и «старыми» институционалистами. Что касается других концептуальных подходов к экономической истории, то они входят в мегатеорию как частные компоненты.

Технические инновации, которые при ортодоксально-марксистских подходах считались главным «мотором» развития общества, в рамках институциональной парадигмы рассматриваются как результат институциональных инноваций, порождающих спрос на новые технологии и создающих условия для их внедрения в хозяйственную практику. Впрочем, возможно и обратное влияние технических нововведений на экономические институты, которое особенно усиливается в эпоху Новейшей истории.

Главным теоретическим принципом нового подхода является тезис о *конкуренции как главном содержании экономической истории*[2]. Эта конкуренция прослеживается в двух аспектах:

1) конкуренция институтов («правил игры»);
2) конкуренция экономических систем — комплексов институциональных норм.

В процессе конкурентного отбора соревнуются многие нормы и системы, частично субституциональные по отношению друг к другу. В ходе этой конкуренции происходит отбор тех институтов и тех экономических систем, которые наиболее эффективны.

В столкновении разных институтов побеждают те, которым легче подавить конкурирующие «правила игры». Это, конечно, похоже на тавтологию («побеждают те, которые побеждают»). Однако такая тавтология обращает внимание на главный критерий сравнительной эффективности институтов — на их способность противодействовать «чужому». Подавление «чужих» моделей может происходить самым разным образом: либо «экспортом институтов» прямым военным насилием (завоевание Америки в XVI—XIX вв. европейцами), либо демонстрацией преимуществ своей модели и помощью в «импорте институтов» (современная политика США в отношении остального мира).

Конкуренция технологий подавления (противоборства подавлению) является отражением других уровней конкуренции (рис. В.2). Среди технологий подавления (военных, экономических, идеологических) более сильны те, которые опираются на преимущества в производстве и потреблении (уровне и качестве жизни). «Правы большие батальоны», вооруженные более современным оружием и желающие отстаивать свой образ жизни. Конкуренция уровня и качества жизни, далее, опирается на конкуренцию правил произ-

[1] Перечисление этих подходов см.: *Латов Ю.В.* Конкуренция в развитии теорий и в развитии российской цивилизации (размышления над концепцией О.Э. Бессоновой) // Мир России. 2008. № 2.

[2] При формулировании концепции конкуренции как механизма исторического развития авторы опираются не только на ранее перечисленные теории исторического развития, но и на идеи «конкуренции как процедуры открытия», предложенные Ф. фон Хайеком (*Хайек Ф.* Конкуренция как процедура открытия // Мировая экономика и международные отношения. 1989. № 12. С. 5—14).

водства экономических благ — на конкуренцию экономических институтов. Высшим уровнем институциональной конкуренции является конкуренция правил совершенствования старых и генерирования новых экономических институтов.

В этой схеме есть, конечно, не только прямые, но и обратные зависимости. Так, появление среди технологий подавления «оружия непрофессионалов» (простого и дешевого огнестрельного оружия в XIX в.) привело к росту конкурентоспособности демократических правил конституционного выбора, поскольку теперь самые широкие слои населения могли весомо настаивать на своем участии в выборах.

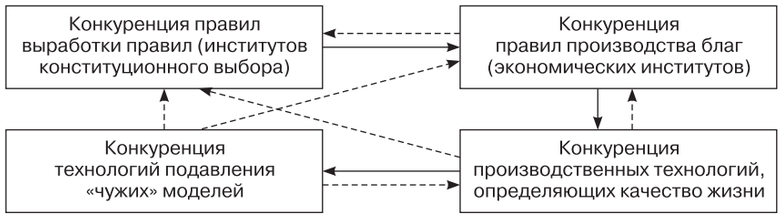


Рис. В.2. Уровни конкуренции региональных (национальных) моделей экономики

Следует подчеркнуть, что конкурентные преимущества на верхних «этажах» нашей схемы становятся не потенциально возможными, а реальными лишь тогда, когда они влияют на конкурентные преимущества более низких «этажей». Перефразируя классика, можно сказать, что любая институциональная система «лишь тогда чего-нибудь стоит, когда умеет защищаться» и наступать. Если некая система правил обеспечивает своим приверженцам более высокий уровень жизни, но не дает защиты от внешней агрессии, то такая система заведомо не конкурентна в долгосрочном периоде. Когда же силовые возможности разных моделей приблизительно равны, исход их противоборства может быть решен во многом случайными обстоятельствами.

Критерий эффективности конкурирующих институтов и систем можно сформулировать и как их способность повышать благосостояние людей — благосостояние в самом широком смысле слова (не только материальное, но и духовное; не только «здесь и сейчас», но и в долгосрочном аспекте). Дело в том, что мобилизационная способность конкурирующих институтов и систем определяется тем, насколько люди могут и желают их отстаивать.

Следует подчеркнуть, что в силу зависимости от предшествующего развития эффективность институтов и систем может заметно различаться в среднесрочном и в долгосрочном периодах. Поэтому первоначально побеждавшие в конкуренции нормы и системы могут затем потерять свой конкурентный потенциал и оказаться «институциональной ловушкой».

В силу множественности конкурирующих институтов и систем процесс развития общества является многоуровневым:

- соревнуются разные общественные системы (в частности, в первой половине XX в. — командная индустриальная с рыночной индустриальной);
- соревнуются разные цивилизационные и национальные системы (так, в XX в. внутри командной системы соревновались советская, китайская и восточноевропейская подсистемы);
- соревнуются различные институты внутри цивилизационных и национальных экономических систем (например, в США XX в. шло соревнование между прямыми, кейнсианскими, и косвенными, неоклассическими, методами регулирования экономики).

Важно подчеркнуть, что каждый из институтов развивается не изолировано, а как элемент определенной институциональной системы. Поэтому институциональная конкуренция, как правило, является конкуренцией «пакетов» взаимосвязанных институтов. Если один институциональный «пакет» в целом эффективнее другого, то доминирующими становятся все его компоненты, даже если отдельные институты из предпочтительного «пакета» хуже соответствующих институтов менее конкурентного пакета.

Таким образом, *экономическая история* предстает *как последовательность институциональных выборов — выборов траекторий развития*, коллективно совершаемых отдельными социальными группами и цивилизациями во взаимодействии друг с другом.

Институциональный выбор — это такое изменение формальных и неформальных правил, а также способов и эффективности принуждения к исполнению правил и ограничений, когда выбирается какой-либо один предпочтительный вариант из нескольких потенциально возможных. Понятие «институциональный выбор» практически сливается с понятием «институциональной инновации», поскольку вряд ли есть хоть одна социально-экономическая проблема, которую можно решить одним-единственным образом.

Рождение новых институтов и экономических систем может являться «ответом» на «вызов» каких-либо внешних (природных) факторов, но чаще является результатом саморазвития самого общества — конкуренции ранее существовавших институтов. Ф. фон Хайек был глубоко прав, называя конкуренцию «процедурой открытия».

Важную роль в институциональных изменениях играют организации. Организация в самом широком смысле слова — это группа людей, объединенная стремлением сообща достичь какой-либо цели. Преследуя цель максимизации дохода, организации и их руководители формируют направление институциональных изменений. Существуют две основные стратегии изменений: одна осуществляется в рамках существующего набора ограничений, другая требует изменения самих ограничений.

Процесс изменений обычно включает как организационные эксперименты, так и устранение организационных ошибок. Проблема, однако, заключается в том, в какой степени общество допускает эти организационные изменения, в какой степени оно заинтересовано в устранении организационных ошибок.

Долгосрочные экономические изменения являются, как правило, результатом накопления множества краткосрочных решений политических и экономических агентов. Выбор, который делают агенты, отражает их субъективное представление об окружающем мире. Поэтому степень соответствия между результатами и намерениями зависит от того, насколько верны эти представления. Поскольку модели поведения людей отражают идеи, идеологию, убеждения (которые в лучшем случае лишь частично подвергаются исправлению и улучшению обратной связью), то последствия сознательно принятых решений часто являются не только неопределенными, но и непредсказуемыми. Поэтому исторический процесс всегда допускает альтернативность, хотя и в разной мере в различные периоды.

Идеология в широком смысле слова является важным механизмом координации краткосрочных и долгосрочных приоритетов людей. Если бы не было идеологических мотивов, то люди делали бы выбор с ориентацией только на удовлетворение своих личных краткосрочных интересов. Это приводило бы к умножению «институциональных ловушек» типа «рак, лебедь и щука»: каждый отстаивает свой интерес, в результате сложения импульсов «воз» не двигается вообще или двигается туда, куда никому не надо. Любая идеологическая система (даже либерально-индивидуалистическая) предлагает руководствоваться некими мотивами, которые отражают не столько личный опыт отдельных индивидов, сколько опыт социальных групп и организаций. Поэтому институциональный выбор проходит в ат-

мосфере соперничества идеологий, которые сами являются одним из институтов конституционного выбора.

Следует подчеркнуть, что институциональный выбор категорически не сводим к метафоре «рынок институтов». Механизм выбора может быть совсем не рыночным — основанным не на добровольном согласии участников соглашения. Более того, рынок как институциональная система, возникшая в Новое время, сам явился результатом нерыночного выбора, на что справедливо указывал К. Поланьи.

Институциональный выбор имеет иерархическую структуру, отражающую иерархию уровней институциональной конкуренции: выбор отдельных экономических институтов зависит от предварительного выбора институтов конституционного выбора и сам оказывает определяющее воздействие на выбор производственных технологий. В качестве иллюстрации можно вспомнить хотя бы концепцию М. Вебера, согласно которой ускоренное развитие частного предпринимательства в некоторых странах Западной Европе нового времени стало возможным благодаря сделанному в эпоху позднего Средневековья выбору протестантизма как идеологии, поощряющей индивидуалистическую борьбу за личное преуспевание.

Отбор более совершенных институтов и экономических систем может происходить разными способами: как стихийно (неосознанно), так и сознательно; с применением насилия (менее конкурентные институты уничтожаются в ходе революций, отсталые системы гибнут в войнах с более передовыми) или мирным путем (в процессе экономических реформ, экспорта институтов и миграции ресурсов). На ранних фазах истории доминирует стихийный и насильственный конкурентный отбор, позже начинает преобладать сознательный и мирный выбор. По аналогии с изучаемой теорией общественного выбора проблемой выбора правил принятия решений, можно говорить о конкуренции способов отбора институтов как о высшем уровне институциональной конкуренции в экономической истории.

Взгляд на историю общества как на процесс выбора позволяет преодолеть «обезличенность», присущую почти всем «большим» теориям экономической истории. Предлагаемый нами подход позволяет видеть не только те процессы, где «каплей льешься с массами», но и различать лица тех, кто «сдвигая камень, рождает лавину», как Мартин Лютер, Генри Форд, Владимир Ульянов (Ленин), Джон Мейнард Кейнс… Поскольку процесс институционального выбора многоаспектен, то в роли «бабочки Брэдбери» может оказаться любой из нас.

глава 1

Когда и почему разошлись пути развития России и Западной Европы (подход с позиции институциональной экономической истории)

1.1. Власть-собственность как базовый институт российской средневековой цивилизации

Формационная методология анализа социально-экономической истории российской цивилизации

Для анализа социально-экономической истории российской цивилизации мы предлагаем использовать модель формационного развития (рис. 1.1), согласно которой в развитии человеческого общества выделяется пять прогрессивных (по отношению к изначальному первобытному обществу) социально-экономических формаций — «азиатская», античная, феодальная, капиталистическая и посткапиталистическая[1].

Эта модель основана на представлении о двух параллельных путях общественного развития. Один («восточный путь») основан на институтах коллективной собственности и государственного регулирования, другой («западный путь») — на институтах частной собственности и спонтанного регулирования. По первому пути шло большинство раннеклассовых цивилизаций, однако он в целом оказался менее прогрессивным. Осуществить спонтанный переход от доиндустриального к индустриальному общественному строю удалось только обществам западного пути развития.

[1] Эта схема основана на теории общественного развития, подробно обоснованной в монографии: *Нуреев Р.М.* Экономический строй докапиталистических формаций. Душанбе : Дониш, 1989. Хотя давно идет дискуссия о соотношении формационного и цивилизационного подходов к анализу развития общества, на наш взгляд, оба эти подхода можно совместить в рамках одной «большой» теории. Формационный подход обращает основное внимание на формальные «правила игры», цивилизационный — на неформальные. Можно использовать следующее образное сравнение: формации — это лестничные пролеты (параллельные или последовательные), а цивилизации — это соревнующиеся друг с другом команды «игроков», которые бегут наперегонки по этим формационным лестницам. Некоторые лестницы перекрещиваются друг с другом, некоторые (как, например, «кочевой феодализм») ведут в тупик. В зависимости от того, какие «лестницы» приходится штурмовать, команды вырабатывают неформальные правила взаимоотношений между членами команд, которые по инерции сохраняются даже тогда, когда команда начинает бег по совсем новой лестнице.

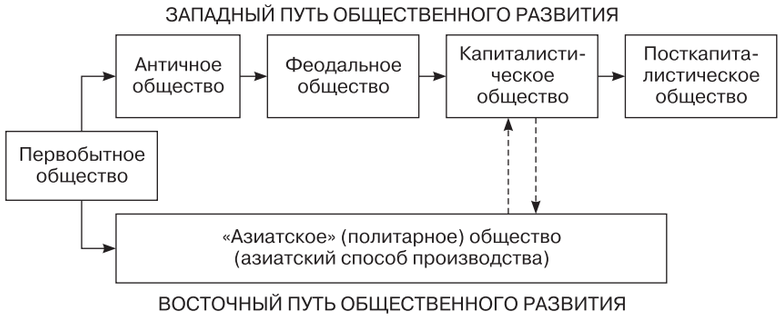


Рис. 1.1. Модель формационного развития человеческого общества (сплошные линии показывают векторы спонтанного развития, пунктирные — векторы развития, обусловленного искусственной социальной инженерией)

Азиатский способ производства («восточный деспотизм») предстает в данной схеме как одно из первых (наряду с античным) антагонистических обществ. Само понятие «азиатский способ производства» появилось в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса для обозначения примитивного раннегосударственного общественного строя, «государственной системы сельских общин», основанного на противостоянии государства-класса и класса подданных[1]. Он возникает в процессе разложения первобытнообщинного строя, исторически и логически предшествуя рабовладельческому строю и феодализму. Уже в эпоху древнего мира формируется качественное различие между Европой, где почти не было «азиатских» институтов, и другими раннеклассовыми цивилизациями. Оно устойчиво сохраняется и в Средние века.

Цивилизация России формировалась и развивалась «на стыке» европейских (в ту эпоху — феодальных) и азиатских обществ, испытывая институциональное влияние с обеих сторон. Российская цивилизация является промежуточной между цивилизациями Запада (основанными на институтах частной собственности) и Востока (основанными на власти-собственности). Она противоречиво соединяет черты «отсталой Европы» и «передовой Азии».

Российская цивилизация имеет высокую степень гетерогенности (неоднородности) — заметно более высокую, чем другие цивилизации. Возможно, это связано с изначальной высокой этнической смешанностью населения русских земель, где кроме славян жили финно-угорские племена. Наиболее общими объединяющими факторами являются русский язык, кириллическая письменность и православная культурная традиция. В то же время на протяжении почти всей истории российской цивилизации ее периферийными элементами были регионы с иными религиозно-культурными традициями (католицизм на западе, ислам на востоке), к которым проявлялась высокая (по европейским меркам) степень толерантности. Претензия православия на абсолютную идеологическую власть никогда не приводила к религиозным войнам.

[1] Обзор дискуссий об азиатском способе производства см.: *Нуреев Р.М.* Проблема «азиатского способа производства» в советской историко-экономической литературе // Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика. 1979. Вып. 5 (URL : http://www.auditorium.ru/books/716/). Термин «азиатский способ производства» используется в дискуссии по инерции, хотя давно признано, что общества этой формации были не только в доколониальной Азии, но и в доколониальной Африке (Египет, Сонгай, Эфиопия, Бенин и др.), в доколумбовой Америке (государства майя, ацтеков, инков) и на островах Океании.

Развитие российской цивилизации (IX—XXI вв.) можно описать как колебание между провосточным (более сильным) и прозападным векторами развития. Постоянное противоборство этих тенденций проявляется в форме непрерывных конфликтов с внешними агрессорами и между разными русскими государствами. Доминирование восточных институтов объясняется, видимо, в первую очередь необходимостью постоянно отражать внешнюю агрессию, угрожающую самому существованию российской «пограничной» цивилизации.

Российская цивилизация на начальной фазе своего развития (IX—XVI вв.) развивалась под влиянием активного экспорта институтов из соседних политически сильных государств восточного типа (Византии, Золотой Орды, Турции). Экспорт институтов из западных стран начался только с XVII в. и всегда осложнялся зависимостью от предшествовавшего развития, поскольку в период своего формирования Россия строила свою самоидентификацию на противопоставлении скорее Западу, чем Востоку.

В развитии российской цивилизации следует выделить шесть этапов.

1. Киевская Русь (IX—XIII вв.) воспринималась современниками как одна из европейских стран, качественно от них не отличающаяся. Это проявляется, в частности, в династических браках ранних Рюриковичей с правителями многих стран Европы (эта практика возобновилась затем только в XVIII в.). Появившиеся уже в этот период проявления специфики России (прежде всего слабость институтов частной собственности) еще не слишком «бросались в глаза», поскольку и Западная Европа в этот период не завершила становление своей институциональной системы.

2. В период татарского завоевания (XIII—XV вв.) происходит раскол российской цивилизации. Подвластные Золотой Орде восточные земли подверглись сильной ориентализации. В то же время западные русские земли (Великое княжество Литовское и Господин Великий Новгород) оставались периферией Европы.

3. Эпоха Московского царства (XVI—XVII вв.) стала периодом активного противоборства четырех моделей российской государственности (московской, новгородской, литовской и казацкой). Их институциональная конкуренция закончилась полной победой ориентализированной московской модели и постепенным угасанием альтернативных моделей.

4. Российская империя (XVIII—XIX вв.) является ярким примером догоняющего развития. Выборочный импорт западных институтов позволил постепенно снизить разрыв между Россией и Европой, но даже к концу петербургского периода Россия не считалась в полной мере европейской страной.

5. Советская эпоха (XX в.) стала периодом контрмодернизации. Стремясь ликвидировать технологическое отставание советской России, партийное руководство целенаправленно возрождало институты власти-собственности, трактуя их как строительство передового коммунистического общества.

6. В постсоветский период российская цивилизация раскололась на три самостоятельных государства (Россия, Украина и Беларусь), каждое из которых демонстрирует особое динамичное сочетание провосточных и прозападных тенденций институционального развития. Ни одно из них до сих пор не завершило выбора устойчивого пути развития национальной экономики, поэтому в настоящее время российская цивилизация еще не вышла из точки бифуркации на путь аттрактора.

Итак, предлагаемая нами интерпретация экономической истории российской цивилизации основана на противопоставлении институтов власти-собственности и частной собственности. Объясним это более подробно.

Дискуссия об азиатском способе производства в средневековой России

В средневековой России, в отличие от стран Запада, исторически сложился тип общественной системы, для которого характерны «перевернутые» отношения собственности и власти, в основе которого лежит эффективность власти, а не эффективность собственности[1].

Россия, как и страны Востока, принадлежит к тем странам, где институциональные рамки хозяйственной деятельности в решающей степени задаются именно государством, а не самоорганизацией гражданского общества. На этом основании некоторые обществоведы делают вывод, что хотя Россия географически является европейской страной, но ее модель социально-экономического развития — это типичный для доиндустриального Востока *азиатский способ производства* («*восточный деспотизм*»).

Вопрос о том, насколько правомерно использовать для характеристики общественного строя средневековой России теорию азиатского способа производства, обсуждался на протяжении всего XX в., однако научная дискуссия по этой проблеме далека от завершения.

Основоположники марксизма не применяли понятия «азиатский способ производства» по отношению к России, но среди дореволюционных обществоведов идея об азиатском, нефеодальном характере средневековой России пользовалась довольно высокой популярностью. Можно вспомнить хотя бы полемику между российскими марксистами, когда в 1906 г. Г.В. Плеханов определил допетровскую Россию как «московское издание экономического порядка, лежавшего в основе всех великих восточных деспотий»[2].

В советский период подобная интерпретация российской истории стала в самой России заведомо невозможной. Действительно, как можно говорить о социалистической революции, если в России не было ни «нормального» капитализма, ни даже «нормального» феодализма?! Характерно, что в разгар знаменитых дискуссий советских историков в конце 1920-х гг. об азиатском способе производства вопросы русской истории подчеркнуто не затрагивались. Тем более невозможной оказалась постановка вопроса о нефеодальном характере русского Средневековья в 1930—1970-е гг., когда даже само понятие «азиатский способ производства» рассматривалось советскими историками-ортодоксами как довольно сомнительное. Основой для официальной интерпретации всего русского Средневековья стала сформулированная еще до революции концепция «феодализма в России» Н.П. Павлова-Сильванского, утверждающая аналогичность Руси средневековому феодализму Западной Европы[3]. Те советские историки, кто осмеливался подвергать сомнению «русский феодализм» (как, например, И.Я. Фроянов в концепции древнерусских «городов-государств»), ограничивались утверждениями о «дофеодальном» характере средневековой Руси, не рискуя уточнять, а что же все-таки предшествовало русскому феодализму.

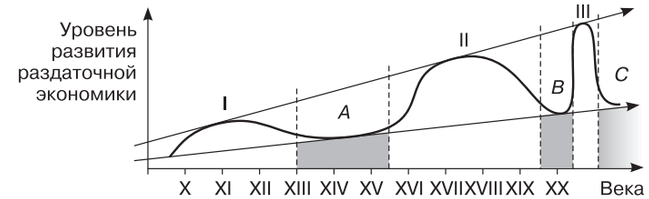
Будучи запрещенной в СССР, «азиатская» интерпретация российского Средневековья получила широкое распространение за рубежом, где использовалась для объяснений коренных отличий российского/советского пути развития от западного. Этот подход стал популярен среди западных советологов благодаря прежде всего концепциям «восточного деспотизма» К.-А. Виттфогеля[1] и «вотчинного государства» Р. Пайпса[2].

[1] *Голенкова З.Т.* Гражданское общество в России // Социологические исследования. 1997. № 3. С. 29.

[2] *Плеханов Г.В.* Сочинения. Т. XV. М. ; Л., 1926. С. 31.

[3] Интересно, что сам Н.П. Павлов-Сильванский отнюдь не считал свою концепцию «универсальной отмычкой», пригодной для объяснения всего русского Средневековья: «Я в своих работах, — писал он, — имел в виду удельную Русь XIII—XV столетий с ее феодальными порядками, противоположными московскому государственному строю» (*Павлов-Сильванский Н.П.* Феодализм в России. М. : Наука, 1988. С. 482). Конечно, советские марксисты-ортодоксы этих оговорок во внимание не принимали. Окончательная канонизация концепции русского средневекового феодализма связана с трудами Б.Д. Грекова. Впрочем, применительно к Киевской Руси точка зрения о «государственно-феодальном» общественном строе (государственный феодализм — фактически один из синонимов азиатского способа производства) возродилась в работах Л.В. Черепнина 1950-х гг. и уже в советское время стала доминирующей.

Среди отечественных обществоведов открытое признание нефеодального, «азиатского» характера российского средневекового общества стало получать распространение лишь в 1990-е гг. В постсоветский период сомнения в феодальной интерпретации средневековой истории России открыто высказываются даже в учебной литературе[3]. Правда, марксистская концепция азиатского способа производства считается «немодной», ее идеи возрождаются чаще всего под иными названиями. Можно вспомнить хотя бы теорию раздаточной экономики О.Э. Бессоновой[4] (рис. 1.2), согласно которой главной тенденцией экономической истории России является усиление институтов раздатка-реципрокности. В то же время в волнообразных колебаниях усиления/ослабления этих институтов можно выделить периоды доминирования отношений квазифеодализма-квазикапитализма-квазирынка, схожих с частнособственническими системами Запада.



Основные периоды раздаточной экономики:	I — X в. — конец XII в. II — XV—XIX в. III — 20—80-е гг. XX в.
Переходные периоды:	*A* — квазифеодализм XIII в. — конец XIV в. *B* — квазикапитализм конец XIX в. — начало XX в. *A* — квазирынок конец XX в.

Рис. 1.2. Институциональные циклы в развитии раздаточной экономики России (по О.Э. Бессоновой)

На современном этапе развития теории экономических систем еще нельзя дать окончательный ответ на вопрос, был ли в России при «старом режиме» азиатский способ производства с элементами феодального уклада или все же феодализм с элементами восточного деспотизма. Для решения этой проблемы надо сначала научиться разграничивать цивилизационные и формационные экономические системы, а также создать теорию многоукладности, позволяющую различать сосуществующие в одной цивилизации элементы разных формаций. Однако уже сейчас следует подчеркнуть тот несомненный факт, что в социально-экономическом строе средневековой России существовала мощная азиатская традиция, органически связанная с институтом власти-собственности.

Монополизация государством функций в общественном разделении труда как основа развития власти-собственности в средневековой России

[1] *Wittfogel K.-A.K.* Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power. New Haven: Yale University Press, 1957.

[2] *Пайпс Р.* Россия при старом режиме. М. : Независимая газета, 1993; *Пайпс Р.* Собственность и свобода. М. : Московская школа политических исследований, 2000. Гл. 4.

[3] «Российский феодализм — это какой-то фантом. Он вроде бы есть, и в то же время его нет» (*Гусейнов Р.* История экономики России : учебное пособие. М. : Маркетинг, 1999. С. 69).

[4] *Бессонова О.Э.* Институты раздаточной экономики России: ретроспективный анализ. Новосибирск, ИЭиОПП СО РАН, 1997 (URL : http://ieie.nsc.ru/~rokos/nesch/BESSONOVA/b2/mono_3.html).

Монополизация государством функций в общественном разделении труда как основа развития власти-собственности в средневековой России

Власть-собственность как основная характеристика «восточного деспотизма» — это нерасчлененное единство властных и собственнических функций. Речь идет о таких «правилах игры», когда политическое лидерство дает неотъемлемое право распоряжаться собственностью, а собственность органически подразумевает наличие политического авторитета.

Этот институт возникает в условиях, когда происходит монополизация должностных функций в общественном разделении труда, когда власть и господство основываются не на частной собственности как таковой, а на высоком положении в традиционной иерархии и престиже[1].

Формы монополизации государством-классом функций в общественном разделении труда могут быть различны (рис. 1.3):

- монополизация функций распределения совместно произведенного продукта или его части;
- монополизация сферы обмена в условиях, когда общество постоянно нуждается в отсутствующих или недостающих факторах производства или средствах существования;
- монополизация условий производства (инфраструктуры, накопленного производственного опыта, знаний, защиты и т.п.);
- монополизация функций контроля и управления общественным производством или отдельными его отраслями.

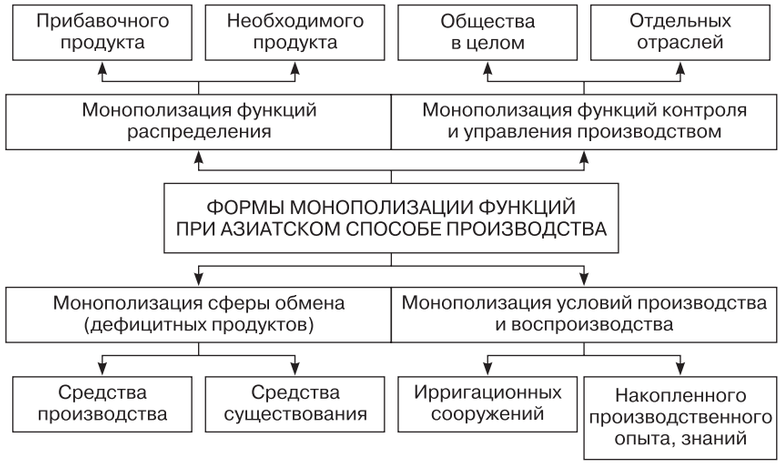


Рис. 1.3. Монополизации государством общественно-полезных функций как основа власти-собственности при азиатском способе производства

Составлено по: Нуреев Р.М. Политическая экономия. Докапиталистические способы производства. Основные закономерности развития. М. : Изд-во МГУ, 1991. С. 55.

[1] Подробнее о власти-собственности как институте азиатского способа производства см., например: *Васильев Л.С.* Феномен власти-собственности. К проблеме типологии докапиталистических структур // Типы общественных отношений на Востоке в Средние века. М. : Наука, 1982.

В дальнейшем монополизация функций в общественном разделении труда могла дополняться и укрепляться собственностью на важнейшие производственные ресурсы (прежде всего землю) или на жизненные средства.

В России главной общественно-полезной функцией, которую монополизировало государство, была *защита от внешней агрессии*. Эта ситуация — разновидность монополизации условий производства и воспроизводства. Оборона является общественным благом, которое может быть обеспечено только государством. В одних странах эта функция государства относительно второстепенна (как для средневековой Англии, которая после XI в. практически никогда не подвергалась внешней агрессии), в других она подавляет все остальные функции государства (именно так произошло в средневековой России).

Русские земли оказались с XIII в. своеобразным «буфером» между цивилизациями Востока и Запада. В результате долгое время не только производство, но и элементарное выживание рождающейся российской цивилизации требовали противодействия агрессивному натиску как с востока (хазары, печенеги, половцы, татары, турки), так и с запада (крестоносцы, литовцы, поляки, шведы). Примерно с XVI в. Россия, едва объединившись, сама начала проводить агрессивную внешнюю политику. И при обороне от агрессивных соседей, и при агрессии против них военные расходы ложились на россиян тяжелым грузом, укрепляя первенство государства над обществом.

Статистика показывает (рис. 1.4), что в имперскую эпоху, с XVIII в., военные расходы в российском госбюджете хотя и имели тенденцию к снижению, но редко когда опускались ниже 30%. В доимперскую эпоху армия «заедала казну» еще сильнее[1]. Поэтому если общества «настоящего» азиатского способа производства (Египет, Китай или государство инков) можно называть, по К.-А. Виттфогелю, «гидравлическими обществами», то Россия — это военное общество, спаянное духом боевого коллективизма[2].

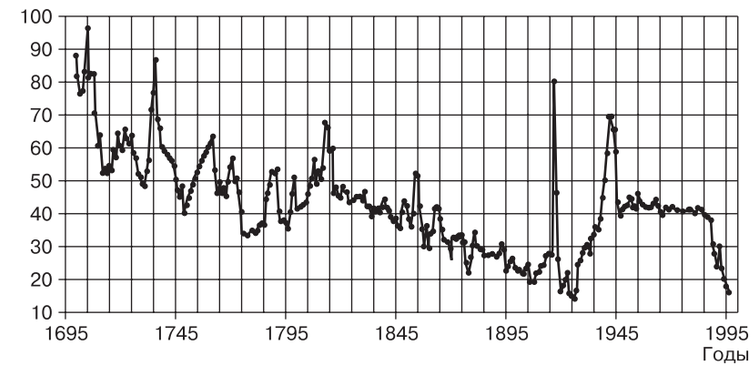


Рис. 1.4. Доля прямых военных расходов в государственном бюджете России, % (по А. Гольцу)

Источник: Город в процессах исторических переходов. Теоретические аспекты и социокультурные характеристики. М. : Наука, 2001. С. 173.

[1] В самой первой известной ученым полной бюджетной росписи доходов и расходов Московского государства, относящейся к 1680 г., военные расходы составляли 62%.

[2] «Военное дело не только стояло тогда на первом плане, занимало первое место между всеми частями государственного управления, но и покрывало собою последнее» (*Ключевский В.О.* Сказания иностранцев о Московском государстве. М., 1991. С. 63).

Наряду с монополизацией функции обороны от внешней агрессии российское государство проявляло и другие черты монополизма, типичного для азиатского строя (рис. 1.5).

Например, забота об армии неизбежно вела к *государственному контролю над производством оружия* (оружейных дел мастера работали в значительной степени по государственным заказам). Содержание армии и страхование от неурожаев требовали создания сильной системы *централизованного перераспределения доходов — государственных* налоговых *сборов и раздач* (земли служивым людям, хлеба при неурожае). Чтобы добыть средства на армию, Московское государство вводило *казенные монополии на дефицитные продукты*. Наиболее известна возникшая с 1530-х гг. государственная монополия на производство и торговлю спиртными напитками (водкой), высокое потребление которых является в России давней традицией («веселие Руси ести пити»). В XVII—XVIII веках осуществлялось государственное регулирование цен посредством установления казенных монополий на смолу, клей, соль, табак, мел, деготь, рыбий жир, дубовые гробы. Есть мнение, что и хлебные цены (по крайней мере в XVII в.) также были не рыночными, а государственно регулируемыми[1]. Однако все эти формы государственного монополизма производны от главной монополии — монополии государства на защиту.

Рис. 1.5. Монополизации Московским государством общественно-полезных функций как основа власти-собственности

Ограниченность частновладельческих прав в средневековой России

В обществах «нормального» азиатского способа производства необходимость коллективного труда для создания условий производства мешала появлению и развитию частной собственности, ограничивала процесс социальной дифференциации. Российская милитаризация вела к результатам вполне аналогичным.

[1] *Ключевский В.О.* Курс русской истории. Сочинения в 9 т. М. : Мысль, 1989. Т. 8. С. 68.

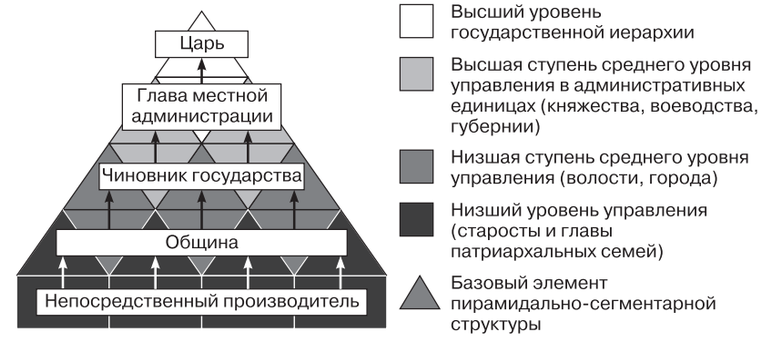


Рис. 1.6. Движение ренты-налога в системе власти-собственности

Незавершенность процессов классообразования при «азиатском деспотизме» проявлялась, в частности, в *непосредственном совпадении верхнего слоя класса землевладельцев с государством*. Собственники факторов производства с одной стороны и бюрократическая и военная машина с другой образовали в этом обществе нерасчлененное целое. Не экономическая сфера определяла политическую, а политическая экономическую.

Специфика правящего сословия в обществах Востока обусловливала и специфику отношений *рентно-налоговой эксплуатации*. Рента в виде налога платилась не частным собственникам, а государству, которое в лице правителя распределяло его между «служивыми людьми» — бюрократическим аппаратом и армией (рис. 1.6). Экономической основой присвоения ренты-налога служила верховная государственная собственность на землю. При этом не имело принципиального значения, платят ли крестьяне подати сначала в казну, а потом казна выдает жалованье «служивым людям» (такая система требует либо развитого денежного хозяйства, либо перевозок большого количества натурпродуктов), или же государь жалует «служивым людям» земли, чтобы они непосредственно получали от крестьян полагающееся содержание.

Что касается отношений собственности на землю как на основное средство производства, то при азиатском строе *собственность является иерархической («слоеной», перекрестной) и коллективной*. Как и при феодализме, право собственности распадается, упрощенно говоря, на право пользования для крестьянина, право владения для пожалованного правителем землевладельца и право распоряжения у верховного правителя. Однако для азиатского строя характерно, что субъектами элементов пучка прав собственности выступают не люди, а коллективы (крестьянская община, каста или клан землевладельцев, правящая династия). Самое главное, на Востоке право землевладельца сильно подавлено властью правителя.

В России ситуация была во многом аналогичной. И в Киевской Руси, и в Московском государстве, и в Российской империи землевладелец, как правило, был служивым человеком — военным либо гражданским, владевшим вотчиной или поместьем в качестве своеобразного «кормления» за «государеву службу». Благополучие представителей господствующего класса гораздо сильнее зависело от их места в иерархии государственной власти, от той должности, которую им удалось получить, продвигаясь по служебной лестнице, чем от унаследованного и приобретенного имущества.

Частное землевладение в России развивается главным образом сверху: центральное правительство предоставляло право сбора доходов с определенных территорий тем или

иным представителям господствующего класса — либо с правом передачи по наследству (вотчины), либо на время личной службы (поместья). Подобные пожалования чаще всего были временными и условными: даже если землевладение считалось наследственным (вотчинным), государь мог его отнять и обязательно требовал от вотчинника службы. Если какой-нибудь французский д'Артаньян мог выбирать, служить ли ему королю или просто вести хозяйство в родовой усадьбе, то его российский современник-дворянин не мог не служить.

Государство нередко перераспределяло землевладения (отнимало у опальных, добавляло фаворитам) или просто заменяло одно владение другим. Должностное владение могло перейти по наследству лишь в случае назначения сына на «государеву службу». Естественно, что «служивые люди» стремились превратить свои должностные владения (поместья), которыми они нередко пользовались из поколения в поколение, в более полную собственность (вотчину). Самодержавная власть, наоборот, старалась сдержать рост числа вотчин, поскольку вотчинники были несколько менее зависимы от произвола правителя, чем помещики, либо уменьшить права вотчинников. Это «перетягивание каната» вело к расширению частновладельческих прав в периоды ослабления центральной власти, но новое усиление централизации вызывало возрождение государственной собственности.

Из-за высокой географической и социальной мобильности землевладельцев в Московии в принципе не могло возникнуть, как в Западной Европе, феодальных замков. Мало было и дворянских фамилий, производных от географических названий родовых владений. Действительно, какие-нибудь герцоги Бургундские во Франции или князья Радзивиллы в Речи Посполитой могли владеть родовыми замками на протяжении нескольких столетий. В России же даже в эпоху позднего Средневековья за столетие фамильный состав владельцев имений в уезде почти полностью обновлялся (сегодня служишь здесь, а завтра — за тридевять земель)[1]. Поэтому границу «нормального» феодализма можно довольно точно проследить по географии расположения родовых замков крупных землевладельцев: они встречаются на землях Западной Украины и Западной Белоруссии (ранее входивших в основном в Речь Посполитую), а восточнее их уже нет.

Таблица 1.1
Сравнение вотчин и поместий как форм служебного землевладения в средневековом Московском государстве

Критерии сравнения	ВОТЧИНЫ	ПОМЕСТЬЯ
Определение	Родовое наследуемое владение	Личное временное владение
Время возникновения	Со времен Киевской Руси	С начала XIV в. (массовое распространение — с конца XV в.)
Условия владения	«Государева служба»	
Права отчуждения	Права ограничены государством (запрещается делать вклад в монастырь) и родичами (запрещается продавать без согласия родственников)	Отчуждение запрещено; после прекращения службы, если сын помещика не служит, имение забирается «в казну»
Налоговый иммунитет	Государство стремится собирать налоги и с частновладельческих крестьян, но может предоставлять льготы отдельным землевладельцам	

[1] Исследование «феодального» землевладения по Дмитровскому уезду (Центральное Нечерноземье) показало, что за время между 20-40-ми гг. XVII в. и второй половиной XVIII в. лишь 6% владений целиком сохранились за представителями одной и той же дворянской фамилии (Хитров Д.А. К вопросу об эволюции феодального влажения в Центральном Нечерноземье в XVIII — XVIII вв. // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 2004. № 1. С. 100).

Окончание

Критерии сравнения	ВОТЧИНЫ	ПОМЕСТЬЯ
Западноевропейские аналоги	Аллод/феод — полная безусловная собственность владельца. Однако в отличие от владельца феодального аллода вотчинник XVI—XVIII вв. обязан служить	Бенефиций — условное владение за службу, без права отчуждения, полученное от вышестоящего феодала. Однако в отличие от владельца феодального бенефиция помещик получает имение всегда непосредственно от правителя
Степень заинтересованности землевладельца в поддержке крестьянских хозяйств своего имения	Более высокая	Более низкая

Хотя вотчины и поместья имели многие различия (табл. 1.1), их все же следует рассматривать как две разновидности служебного землевладения, далекого даже от феодальной частной собственности. Поэтому когда в 1714 г. Петр I издал указ об уравнении поместья с вотчиной, то это хотя и было шагом по пути развития частнособственнических начал, однако не очень большим. Признав наследственность дворянского землевладения, государство оставило за собой право в случае опалы отнимать у провинившегося и свободу, и имущество. Вплоть до конца XVIII в. в России не *существовало надежной гарантии частной собственности* — ни царь, ни представители правящего сословия по-прежнему не видели разницы между личным имуществом и собственностью государства. Даже представители высшей элиты, попав в опалу, могли лишиться всего своего имущества (вспомним хотя бы судьбу фаворита Петра I Александра Меншикова). Лишь в 1762 г. появился Указ Петра III о вольности дворянства, освободивший землевладельцев от обязательной государственной службы.

Таблица 1.2
Сравнение отношений власти и собственности в доиндустриальных обществах

Характеристики правящего класса	Власть-собственность при «восточном деспотизме»	Вотчинно-помещичья система Московской Руси	Феодальная система вассальных отношений в Западной Европе
Отношения личной зависимости	Внедоговорные (министериалитет)	Внедоговорные (холопство)	Договорные (вассалитет)
Наследование прав собственности	Только при наследовании служебных функций	Только при наследовании служебных функций	От отца к старшему сыну (майорат)
Защита прав собственности	Иммунитет по горизонтали	Иммунитет по горизонтали	Иммунитет по горизонтали и по вертикали
Порядок назначения на должности	В соответствии с личными заслугами перед правителем	В соответствии с заслугами предков перед правящей династией (местничество)	В соответствии с личными заслугами перед правителем
Характер власти верховного правителя	Деспотический	Самодержавный (Земские соборы являются скорее собранием экспертов, чем сословным парламентом)	Власть верховного правителя ограничена крупными феодалами и сословным парламентом

Широкая «свобода рук» правителя Московии в отношении имущества своих подданных привела к своеобразному *парадоксу отношений собственности*. С одной стороны, поскольку собственно государственная собственность («черные» земли) никогда в досоветской России не была господствующей, то формально ситуация напоминала западноевропейский феодализм, где относительно небольшой домен правящей династии многократно уступал владениям светских и церковных феодалов. С другой стороны, влияние государства на землевладение вплоть до XIX в. было в России абсолютно доминирующим. Это достигалось благодаря монополии на отправление верховных административно-хозяйственных функций, присвоению значительной части производимого помещичьими и вотчинными крестьянами продукта, контролю за владениями православной церкви, регулированию хозяйственной жизни и т.д. Таким образом, в средневековой России частные хозяйства «служивых людей», поместья и вотчины, имели подчиненный характер[1] и не могли сколько-нибудь существенно подорвать верховную собственность государства на землю. Тем более ее не могли подорвать семейные крестьянские хозяйства, подчиненные общине.

В средневековом российском обществе, в котором не существовало надежной гарантии частной собственности, незнатные чиновники (дьяки, подьячие) занимали особое место. Представители государственной власти имели не только прямые, служебные, но и общепринятые косвенные доходы («почести», «посулы») от выполняемых ими должностных функций[2]. В условиях разрастающегося бюрократического аппарата, отсутствия надежного контроля над деятельностью каждого чиновника и нерасчлененности их функций неизбежны были коррупция и злоупотребление властью, которые воспринимались как повседневная норма («Жалует царь, да не жалует псарь»).

Перед всемогущим бюрократическим аппаратом на Востоке пресмыкались и раболепствовали не только нижние чины, но и представители элиты. Это общество не знало свободной личности — в Московском государстве даже бояре называли себя холопами, обращаясь к царю[3]. То, что это не было лишь речевым этикетом, доказывается практикой унизительных телесных наказаний для провинившихся «феодалов»[4].

[1] Эта особенность поземельных отношений в России лаконично передана уже в начале XVIII в. первым российским экономистом-теоретиком И.Т. Посошковым: «…Земля вековая царева, а помещикам дается ради пропитания на время. Того ради царю и воля в ней большая и вековая, а им меньшая и временная…» (*Посошков И.* Книга о скудости и богатстве. М. : Экономическая газета, 2001. С. 365). Любопытно, что в отечественной литературе принято причислять Посошкова к меркантилистам (и даже подчеркивать, что он выше западных меркантилистов), в то время как на параллели его идей с восточной литературой о государственном хозяйстве (типа «Гуань-цзы», «Артхашастры» и «Сиясет-наме») никто внимания не обращал.

[2] Исследователи отмечают, например, что у дьяков и подьячих приказов XVII в. подношения от челобитчиков превышали годовые денежные оклады не менее чем в 5—10 раз (*Седов П.В.* Подношения в московских приказах XVII века // Отечественная история. 1996. № 1. С. 143).

[3] Вспомним хрестоматийное высказывание Ивана IV: «Жаловать есмя своих холопов вольны, а и казнить вольны же» (Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 26.). Для сравнения можно вспомнить английскую Великую хартию вольностей: «Ни один свободный человек не будет арестован или заключен в тюрьму, или лишен владения, или объявлен стоящим вне закона... и мы не пойдем на него и не пошлем на него иначе, как по законному приговору равных его и по закону страны».

[4] Приведем лишь одно типичное свидетельство: в 1493 г. были наказаны «в торгу кнутьем» Чудовский архимандрит и князь Ухтомский «про то, что зделали грамоту на землю», будто бы пожалованную Спасову монастырю вологодским князем (Полное собрание русских летописей. Вып. 3. С. 464). Подделывать документы хорошо умели, конечно, и в средневековой Западной Европе (вспомним хотя бы «Константинов дар»). Но можно ли представить, чтобы, например, Людовик XI (весьма деспотичный по западным меркам правитель), обнаружив подобную махинацию, приказал публично высечь аббата Клюни и герцога Бургундского в придачу?!

В таблице 1.2 показаны черты сходства и отличия российской вотчинно-помещичьей системы отношений в сравнении с азиатской властью-собственностью и западной вассально-феодальной системой. Хорошо заметно, что средневековая Московия была ближе к Востоку, чем к Западу.

1.2. Производственная среда российской цивилизации

Попробуем теперь объяснить, почему в развитии российской цивилизации стали доминировать институты восточного типа. На наш взгляд, главная причина — особенности системы экономических ресурсов, производственной среды России XIII—XVII вв.

Общая типология экономических ресурсов

Чтобы дать характеристику производственной среды российской цивилизации, рассмотрим сначала самую общую типологию экономических ресурсов (производительных сил) как таковых.

В качестве основы этой типологии целесообразно использовать концепцию трех основных типов производительных сил — естественных, общественных и всеобщих[1]. Эту концепцию можно рассматривать как постмарксистскую, поскольку она соединяет идеи неортодоксального марксизма с современными институциональными концепциями постиндустриального общества.

Таблица 1.3
Типология экономических ресурсов (производительных сил)

Типы ресурсов по их происхождению	Виды ресурсов по их принадлежности	Типы капитала как формы ресурсов	Общие экономические теории, посвященные анализу ресурсов	Теории экономической истории, посвященные историческому анализу развития ресурсов
Естественные (первоначально данные природой)	Субъективные (природа самого человека) — «ТРУД»	Физиологический капитал	Теория рабочей силы К. Маркса	За рубежом — историческая демография (Р. Пирл), экономико-физиологическая история («поздний» Р. Фогель); в СССР и в России — Б. Урланис, Б. Миронов, С. Нефедов
	Объективные (окружающая природа) — «ЗЕМЛЯ»	Природный капитал	Концепции демографического и географического детерминизма: Т. Мальтус, И. Мечников, теории азиатского способа производства, А. Паршев	За рубежом — историческая климатология (Ле Руа Ладюри), в СССР и в России — социоестественная история («ранний» Л. Гумилев, Э. Кульпин), Л. Милов

[1] Эта концепция была сформулирована в самые последние годы существования советской экономической науки и изложена в мелкотиражном издании, вышедшем в периферийном издательстве (*Нуреев Р.М.* Экономический строй докапиталистической формации. Душанбе : Дониш, 1989).

Окончание

Типы ресурсов по их происхождению	Виды ресурсов по их принадлежности	Типы капитала как формы ресурсов	Общие экономические теории, посвященные анализу ресурсов	Теории экономической истории, посвященные историческому анализу развития ресурсов
Общественные (созданные и используемые человеком или локальным коллективом)	Субъективные (знания и навыки) — «ИНФОРМАЦИЯ»	Человеческий капитал	Теория человеческого капитала (Г. Беккер, Т. Шульц)	История образования и здравоохранения
	Объективные (предметы и средства труда) — «КАПИТАЛ» (в традиционном смысле)	Вещественный (физический) капитал	Классическая политэкономия (А. Смит, Д. Риккардо и др.)	Этнография, история техники («ранний» Р. Фогель, П. Дэвид)
Всеобщие (созданные и используемые крупными сообществами)	Субъективные (институты и организации) — «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»	Социальный капитал	Новая немецкая историческая школа (М. Вебер, В. Зомбарт), институционализм (Т. Веблен, Р. Коуз), ордо-либерализм (В. Ойкен), теории социального капитала (Дж. Коулман, Р. Патнэм)	За рубежом — история формальных норм и правил (К. Поланьи, Д. Норт, И. Валлерстайн), история неформальной ментальности (М. Вебер, школа «Анналов»); в СССР и в России — Р. Нуреев, А. Гуревич

Согласно этой концепции, самая общая типологизация ресурсов производится по критерию их происхождения (т.е. по тому, кем созданы эти ресурсы):

- естественные ресурсы изначально даны природой;
- общественные ресурсы создаются индивидом и (или) локальными коллективами (общиной, фирмой);
- всеобщие ресурсы создаются крупными коллективами (государством, человечеством в целом).

Сразу следует оговорить, что грань между этими тремя типами ресурсов (производительных сил) довольно относительна, не абсолютна. Три типа ресурсов образуют перекрещивающиеся множества, поскольку существуют объекты, которые можно отнести в той или иной степени сразу к двум или даже ко всем трем типам.

Например, важным фактором развития аграрной экономики является естественный температурный режим. Однако, если верны концепции глобального потепления как результата «озоновой дыры», то температура окружающей среды постепенно становится результатом деятельности людей, частично превращаясь из естественного во всеобщий ресурс[1]. А чем является Суэцкий канал? Изначально (в XIX в.) он был результатом строительства,

[1] В экономической теории эта проблема давно рассматривается в контексте анализа постепенного превращения естественного плодородия в искусственное.

организованного крупным транснациональным акционерным обществом. Но строительство этого канала было бы невозможным без благоприятных условий, сделавших возможным соединение Красного и Средиземного моря через узкую перемычку. А события арабо-израильских войн второй половины XX в. показали, что для функционирования Суэцкого канала мировое сообщество должно приложить недюжинные усилия, чтобы сдерживать конфликт на Ближнем Востоке. Следовательно, этот канал можно отнести ко всем трем типам производительных сил.

Первые два типа ресурсов можно дополнительно разделить на два вида, в зависимости от того, являются ли ресурсы субъективными (неотделимыми от личности человека) или же объективными (выступающими как некое внешнее условие человеческой деятельности). В результате мы получаем пять разновидностей ресурсов (табл. 1.3).

Эта типология удачно сопрягается с традиционным для «учебного экономикса» набором пяти основных ресурсов:

«*нечеловеческие*» *ресурсы*:

«земля» (= природный капитал) — естественно данные особенности окружающей среды (плодородие почвы, температурный режим, полезные ископаемые и др.),

«капитал» (= вещественный/физический капитал) — объекты, искусственно созданные человеком или локальными группами людей (машины, здания, дороги и др.);

«*человеческие*» *ресурсы*:

«труд» (= физиологический капитал) — способность индивида к экономической деятельности, данная ему при рождении,

«информация» (= человеческий капитал) — способность индивида к экономической деятельности, полученная им благодаря личным усилиям по совершенствованию данного природой потенциала,

«предпринимательство» (= социальный капитал), способность индивида к экономической деятельности, полученная благодаря общественным нормам, регулирующим взаимоотношения между людьми.

Изложенная система категорий экономических ресурсов носит одновременно и универсальный, и формационно-специфический характер. Все перечисленные ресурсы существуют при любой социально-экономической системе, хотя для каждой из них типична своя специфическая комбинация основных ресурсов. Например, для обществ азиатского способа производства характерна комбинация естественных объективных ресурсов со всеобщими (организация общественных работ государством-классом); в капиталистическом обществе наиболее важны общественные объективные ресурсы, и т.д. Однако капиталом — ценностью, приносящей денежный доход в процессе товарного производства, — все эти ресурсы являются только в условиях капиталистического общественного строя.

Наиболее стабильным фактором хозяйственной жизнедеятельности любого народа является, конечно, природно-географическая среда (объективные естественные производительные силы). Но и этот фактор не является константой. Рассмотрим сначала наиболее общие особенности производственной среды России, проявляющиеся и в наши дни, а затем историческую специфику этой среды в средневековую эпоху.

Мобилизационно-коммунальная среда российского земледелия

Хозяйственная жизнедеятельность россиян, которые вплоть до середины XX в. оставались в основном крестьянским сообществом, связана прежде всего с особенностями их земледельческого производства. Природно-географическую среду русского

Средневековья следует охарактеризовать как *мобилизационно-коммунальную*, т.е. такую, которая создает аритмию производства и требует коллективных усилий под единым руководством (рис. 1.7).

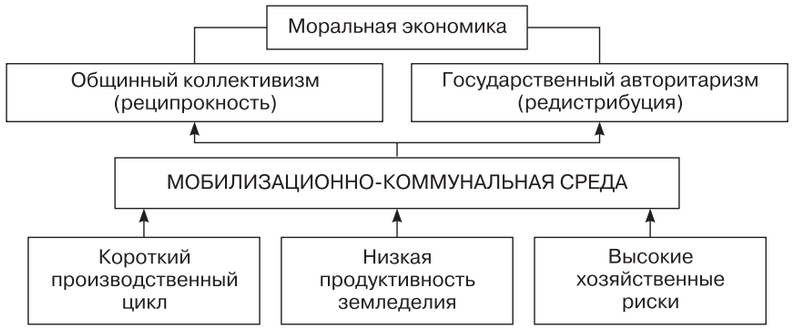


Рис. 1.7. Мобилизационно-коммунальная среда в средневековой России

Хозяйственная культура российского/русского этноса формировалась в условиях *короткого производственного цикла*. Северный континентальный климат, короткое и холодное лето заставляли осуществлять главную, земледельческую деятельность в режиме не равномерного расходования сил, а импульсной мобилизации. Это значит, что в течение пяти месяцев в году (с начала мая до начала октября) русский крестьянин трудился на пределе сил, а остальное время года вынужденно оставался свободным. Для сравнения можно отметить, что в Западной Европе срок сельскохозяйственных работ был вдвое длиннее (не работали лишь в декабре и январе), воспитывая у земледельцев привычку к постоянному размеренному труду[1].

Следующей природно-географической особенностью, обусловившей специфику российской экономической культуры, является *низкая продуктивность земледелия, приводящая к существованию в режиме выживания*. Аритмичный труд на не слишком плодородных землях давал низкую отдачу: даже в эпоху Нового времени урожайность зерновых не превышала сам-три (три собранных зерна на одно посеянное)[2]. Между тем в Западной Европе уже в XVI в. нормой стали урожаи зерновых сам-пять. Этот разрыв нельзя объяснить отставанием в агротехнике: по расчетам Л. Милова, если учитывать только природно-климатический фактор, абстрагируясь от различий труда и капитала, то чистый выход растительной биомассы в России все равно в среднем в 2—2,5 раза ниже, чем в Западной Европе[3]. Низкая продуктивность земледелия оставляла мало возможностей для накопления излишков, а следовательно, для значительного социального расслоения.

[1] *Милов Л.В.* Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М. : РОССПЭН, 1998. С. 554 и др. Влияние хозяйственной аритмии на экономическую ментальность россиян с замечательной лаконичностью отметил еще В.О. Ключевский: «Ни один народ в Европе не способен к такому напряжению труда на короткое время, какое может развить великоросс; но нигде в Европе, кажется, не найдем такой непривычки к ровному, умеренному и размеренному постоянному труду, как в той же Великороссии» (*Ключевский В.О.* Сочинения. В 8 т. Т. I. М., 1956. С. 314).

[2] К концу XVIII в. средние урожаи зерновых в Европейской России составляли всего порядка сам-три или даже сам-два (*Милов. Л.В.* Указ. соч. С. 189).

[3] *Милов Л.В.* Природно-климатический фактор и менталитет русского крестьянства // Общественные науки и современность. 1995. № 1. С. 15.

Таблица 1.4
Сословный состав населения России раннего нового времени, млн человек

Основные группы населения	1678 г.	1719 г.
Податные	10,1	13,6
Крестьяне	9,6	13,0
Горожане	0,5	0,6
Неподатные (дворяне, армия, духовенство, чиновничество)	0,4	1,3
ВСЕГО	10,5	14,5

Источник: Кабузан В.М. Население Российской империи в XVIII веке // Исследования по истории России XVI—XVIII вв. Сб. ст. в честь 70-летия Я.Е. Володарского. М., 2000. С. 143.

Низкопродуктивное земледелие средневековой России явилось одной из причин слабого развития городов, которое в доиндустриальных обществах определяется масштабами аграрного прибавочного продукта. В свою очередь слабое развитие городов, а следовательно, слабое развитие ремесленно-промышленной деятельности, не дали развиться (как в Западной Европе) «третьему сословию» с присущими ему ценностями индивидуализма. В XV веке в городах жила всего 0,1% населения Северо-Западной Руси[1] (в менее урбанизированной Северо-Восточной Руси — еще меньше), и даже в конце XVII — начале XVIII вв. доля горожан составляла в России лишь примерно 4% (табл. 1.4). Это очень низкая степень урбанизированности по сравнению со странами как Запада, так и Востока. Для сравнения: долю горожан в населении средневековых стран Азии оценивают примерно в 20—25%, стран Западной Европы — примерно в 10%.

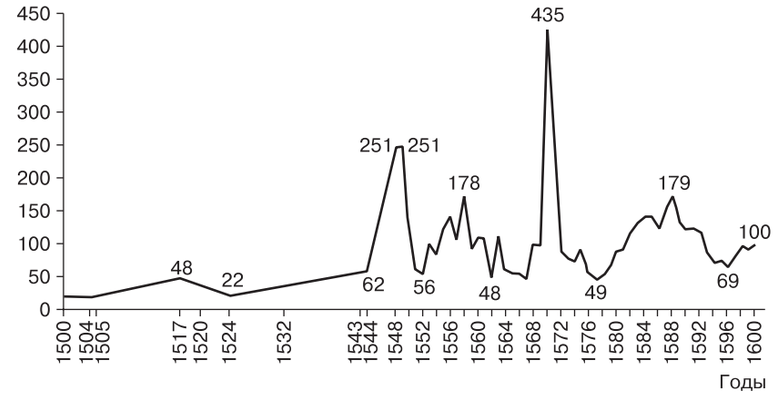


Рис. 1.8. Колебания индекса хлебных цен в России XVI в. (за 100 взят уровень цен 1600 г.)

Источник: Маньков А.Г. Цены и их движение в Русском государстве XVI века. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1951. С. 41.

Самое тяжелое заключалось в *высоких хозяйственных рисках* — урожаи были не только требующими аврального труда, не только низкими, но и весьма нестабильными. Авральность и низкая отдача сами по себе повышают рискованность хозяйственной деятельно-

[1] Аграрная история Северо-Запада России. Вторая половина XV — начало XVI в. Л., 1971. С. 324.

сти. Но в России сбор урожая зависел не столько от количества и качества труда, сколько от трудно предсказуемых капризов погоды[1].

Данные о средней урожайности в России XIX—XX вв. демонстрируют очень высокую амплитуду — на протяжении нескольких лет она могла варьироваться двукратно и даже еще сильнее[2]. Можно ли эту тенденцию экстраполировать в прошлое? Для средневековой России, конечно, статистики урожайности нет. Однако о колебаниях сборов зерна можно составить примерное представление по отрывочной статистике хлебных цен. Так, данные за XVI в. показывают (рис. 1.8), что всего за десятилетие сводный индекс цен на хлеб в Русском государстве мог варьироваться от 48 (урожайный 1562 г.) до 435 (неурожайный 1570 г.). Очевидно, что и урожайность варьировалась со столь же высокой — едва ли не десятикратной! — амплитудой.

Слабая взаимосвязь между личным трудом и уровнем жизни сформировала фаталистические черты русского национального характера («От сумы да от тюрьмы не зарекайся»), ощущение невозможности улучшить жизнь собственным трудом («От трудов праведных не наживешь палат каменных»)[3].

Конечно, выживание в условиях высоких жизненных рисков требовало не только фаталистической надежды на «авось», но и создания механизмов хотя бы частичной компенсации этих рисков. Доиндустриальные общества допускают развитие двух типов гашения последствий рисков:

1) объединение рисков путем замены шоковых потерь регулярными издержками — речь идет о сборе регулярных налогов, податей и сборов в пользу стоящих над индивидуальным домохозяйством инстанций (общины, землевладельца, государства), которые при наступлении «страхового случая» (голод, пожар, нашествие) обязаны помогать нуждающимся;
2) распределение рисков — деление последствий возможных потерь между членами некоего коллектива (общины, цеха, касты), объединенного стремлением противостоять единым для всех потенциальным опасностям.

Первый вариант предполагает создание стоящей над домохозяйством властной «вертикали», второй — растворение индивидуального домохозяйства в общинных коллективах. Именно эти черты, *государственный авторитаризм* и *общинный коллективизм*, стали императивом российской цивилизации.

Сильные перераспределительные механизмы внутри крестьянского социума могли базироваться только на уравнительных ценностях. Поэтому объективные условия хозяйственной деятельности российских крестьян обусловили длительное сохранение и даже периодическую регенерацию общинных форм организации социально-экономической жизни.

Важнейшими характеристиками общинных форм поведения являлась *реципрокация* при помощи многочисленных обычаев уравнительного перераспределения, таких как потлач (дарения излишков), помочи (совместная трудовая деятельность), «наряды миром», толоки, складчина. Реципрокный характер такого обмена означал, что обмен осуществлялся между равными, а получение помощи накладывало на получателя обязательство не-

[1] *Милов Л.В.* Указ. соч. С. 411.

[2] См., например: *Борисенков* Е.П., *Пасецкий В.М.* Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы. М. : Мысль, 1988. С. 87.

[3] Фаталистические черты хозяйственной культуры прослеживаются даже в русском языке, в котором четко видны характеристики неагентивности — ощущения того, что людям неподвластна их собственная жизнь. В русском языке люди выступают скорее не как «деятели», а как «претерпеватели». См.: *Кирилина А.В.* Гендер: лингвистические аспекты. М., 1999. С. 100.

медленно отозваться на призыв оказавшего ему помощь, когда последний будет в ней нуждаться.

Общинная реципрокность дополнялась государственной *редистрибуцией*: центральная власть имела право накладывать на всех подданных подати, чтобы использовать централизованные средства на общественно-полезные цели. Поскольку в ситуации высоких жизненных рисков расходы правителя не могли не колебаться, за ним признавалось право собирать не только обычные, но и экстремальные поборы.

Таким образом, мобилизационно-коммунальный труд неизбежно вел к развитию «моральной экономики» сельской общины и государственного патернализма[1]. Как и в других «восточных» странах, российская «моральная экономика» культивировала представления о *человеке как принадлежности целого,* коллектива и о *традиции как высшей ценности* в сравнении с новациями. Крестьянин подчинялся общине, община подчинялась землевладельцу, а землевладелец подчинялся государству. В результате попавший в нужду крестьянин мог рассчитывать на обязательную помощь своих односельчан и на патернализм «барина», а в случае особо тяжелых неурожаев — на государственную раздачу хлеба (как это было, например, во время «великого годуновского голода» 1601—1603 гг.). Но едва трудолюбивый и удачливый землепашец начинал богатеть, как его достаток «срезался» государственными повинностями, поборами землевладельца и обязательствами помогать соседям по селу.

Историческая специфика XIII—XVII вв.: «жизнь под саблей» в малый ледниковый период

Мобилизационно-коммунальный характер российского земледелия мог усиливаться или ослабевать в зависимости от обстоятельств исторической эпохи. Время формирования российской цивилизации — это как раз то время, когда *обычные риски хозяйственной деятельности в зоне рискованного земледелия оказались еще более взвинченными*. Тому было две причины: одна — социальная, другая — естественно-климатическая.

России «повезло» быть форпостом Европы на границе со Степью — миром кочевых племен, которые постоянно смотрели на оседлых земледельцев как на добычу. *Борьба с кочевниками* (печенегами, половцами, Золотой Ордой, Казанским и Крымским ханствами) длится на протяжении почти всей истории российской цивилизации, вплоть до XVIII в.

Средневековая Западная Европа тоже знала много разорительных войн (вспомним хотя бы Столетнюю и Тридцатилетнюю). Однако набеги степняков качественно отличались от феодальных или королевских междоусобиц. Войны на Западе велись «оседлыми бандитами», которые желали расширить контролируемую ими территорию. Поэтому захватчики грабили крестьян и горожан, но не устраивали геноцида. Степняки же, будучи типичными «бандитами-гастролерами», вовсе не собирались оставаться в штурмуемых городах, потому при взятии городов их разоряли дотла, а горожан уводили в полон или уничтожали. Капитуляция в расчете, что победитель милостиво удовлетворится богатой контрибуцией (эта типичная для средневековой Западной Европы ситуация запечатлена Роденом в «Гражданах Кале»), заведомо исключалась.

[1] О принципах «моральной экономики», открытых впервые американским ученым Дж. Скоттом в странах Азии, см., например: *Фурсов А.И.* Проблемы социальной истории крестьянства Азии. Вып. 1. Новейшие модели крестьянина в буржуазных исследованиях. М. : ИНИОН, 1986. С. 41 — 185; *Фурсов А.И.* Проблемы социальной истории крестьянства Азии. Вып. 2. «Моральный крестьянин» или «рациональный крестьянин»? М. : ИНИОН, 1988.

Постоянное соседство со Степью столь же постоянно генерировало особые, смертоносные риски. Известно, что после монголо-татарского нашествия 1237—1240 гг. многие древнерусские города буквально исчезли с лица земли[1]. Сама столица Московии дважды подвергалась полному разорению, после чего ее приходилось отстраивать практически заново, — в 1382 и в 1571 гг. Средневековые западноевропейские страны находились в схожем положении лишь в эпоху викингов, в раннее Средневековье (VIII—X вв.). Средневековая же Россия постоянно жила «под саблей». «Войны жестокие катят, как волны морские…», — писал в XVI в. Николай Гусовский, и эти волны захлестывали Россию на протяжении почти всей ее истории.

Для снижения смертоносных рисков набегов степных «бандитов-гастролеров» было необходимо централизованное государство, которое либо давало отпор налетчикам, либо откупалось от них. Чаще всего приходилось делать и то, и другое. Если Киевской Руси и Великому Княжеству Литовскому удавалось удерживать степняков в основном силой оружия, то Московское государство постоянно им платило дань.

До конца XV в. дань русских княжеств татарам была выражением вассальной зависимости от Орды. После «стояния на Угре» 1480 г. русские земли стали полностью самостоятельными, но у татарских государств оставалось еще достаточно сил, чтобы регулярно совершать грабительские набеги. Особенно «прославились» этим крымские татары: налеты на южные земли Украины (как части Великого княжества Литовского, позже — Речи Посполитой) и Московии стали основным источником дохода для Крымского ханства, превратившегося, по существу, в разбойничье государство.

Как и полагается «бандитам-гастролерам», татары во время набегов стремились забрать все, что только можно, включая и местных жителей, которых десятками тысяч обращали в рабство. Для правителей русских земель самым рациональным в этих условиях было выплачивать регулярную подать («выход» ханам Золотой Орды, «поминки» крымскому хану) за воздержание от набегов, выкупая тем самым защиту от разорения. Впрочем, это не защищало от мелких «самочинных» набегов, которые учащались по мере упадка Орды (с середины XIV в.).

Московское государство платило регулярную дань Крыму до 1685 г., последний грабительский набег крымских татар на Украину состоялся в 1769 г., и только при Екатерине II это разбойничье гнездо удалось окончательно ликвидировать. Лишь после этого исчезла Степь как фактор хозяйственных рисков и появилась возможность освоить плодородные степные черноземы.

Таким образом, татары Золотой Орды, а затем казанские и крымские татары попеременно выступали по отношению к московитам и украинцам, в зависимости от политической конъюнктуры, то как «бандиты-гастролеры», то как «оседлые бандиты». В ситуации «жизни под саблей» на малодоходное крестьянское хозяйство ложилось бремя содержать не только «свой» государственный аппарат, но еще и иноземцев. Возможности развития «третьего сословия» еще более ухудшались, зато росло княжеское/царское самовластье.

[1] По археологическим данным, из 74 русских городов XII—XIII вв., известных по раскопкам, 49 ($^2/_3$!) были разорены Батыем, из них 14 городов (т.е. около 20% их общего числа) уже не поднялись из пепла, а 15 (еще 20%) постепенно превратились в села. Но и после нашествия 1237—1241 гг. на русские земли приходили карательные экспедиции татар, выжигавшие все на своем пути. Так, в последнюю четверть XIII в. Орда провела не менее 15 крупных походов, в ходе которых многие города снова и снова разрушались (Переяславль-Залесский — четырежды, Муром, Суздаль, Рязань — по три раза, Владимир — дважды). По подсчетам А.А. Горского, в середине — второй половине XIII в. прекратили свое существование 83% укрепленных поселений Киевской земли (из них позже возродились лишь 22%), 81% — Переяславской земли (возродились 14%), 76% — Галицко-Волынских (возродились 31%) (*Горский А.А.* Русь: От славянского Расселения до Московского царства. М. : Языки славянской культуры, 2004. С. 202).

Другой специфический фактор хозяйственного развития средневековой России — это *малый ледниковый период XIV—XVIII вв*.

Историческая климатология доказывает, что природные условия не являются неизменными, и их колебания могут стать одним из факторов заметных социально-экономических изменений в доиндустриальных обществах. Эти колебания слабее влияют на цивилизации с высоким запасом прочности (высокой нормой прибавочного продукта) и гораздо сильнее — на цивилизации рискованного агрохозяйства. Средневековая Россия относилась как раз ко второму типу.

XIII—XVIII века называют малым ледниковым периодом, поскольку во всем Старом Свете в это время наблюдалось общее понижение среднегодовой температуры. Главным негативным фактором было не само по себе похолодание на несколько градусов, а увеличение числа экстремальных метеорологических явлений (засух, наводнений, внезапных заморозков)[1]. И без того нелегкие условия сельскохозяйственного производства в России стали в это время еще более тяжелыми.

Для понимания тяжести удара малого ледникового периода по российской цивилизации можно ограничиться перечислением событий, когда стихийные бедствия вызывали повальный мор: 1228—1230 гг. (некоторые историки считают, что этот голод опустошил Русь сильнее нашествия Батыя), 1349—1353 гг. (пандемия «черной чумы», прошедшая по всей Европе), 1420—1423 гг., 1568—1571 гг., 1601—1603 гг. («великий годуновский голод», ставший одной из причин начала Смуты).

Очень красноречивой является статистика экстремальных явлений в средневековой России в сравнении с ситуацией в средневековой Англии (табл. 1.5). Если в XI—XIII вв. (период завершения малого климатического оптимума) общее количество засух и наводнений в обеих странах было практически одинаковым, то в XIV—XVII вв. Россия оставляет Англию далеко позади. В период позднего Средневековья и раннего Нового времени дождливые периоды в России наблюдаются в 4 раза чаще, чем в Англии, а засухи — чаще в 4,5 раза.

Таблица 1.5
Засухи и наводнения в средневековой Англии и России

Периоды	Англия		Россия	
	наводнения	засухи	наводнения	Засухи
Малый климатический оптимум				
1000—1099 гг.	1	1	2	1
1100—1199 гг.	3	1	1	1
1200—1299 гг.	5	2	5	1
ВСЕГО за XI—XIII вв.	9	4	8	3
Малый ледниковый период				
1300—1399 гг.	3	0	8	11
1400—1499 гг.	3	1	13	11
1500—1599 гг.	3	3	10	6
1600—1699 гг.	1	3	9	4
ВСЕГО за XIV — XVII вв.	10	7	40	32

Составлено по: Борисенков Е.П., Пасецкий В.М. Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы. М. : Мысль, 1988. С. 57.

[1] *Борисенков Е.П., Пасецкий В.М.* Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы. М. : Мысль, 1988. С. 503.

Важно отметить, что самые частые климатические экстремумы обрушились на Россию в раннее Новое время: в XVI в. русские хроники отметили 48 голодных лет, в XVII в. — 65 (в среднем два года из трех!). Именно тогда, когда в Западной Европе восходит «заря капитализма», экономика России оказалась в особенно тяжелых естественно-климатических условиях. Это стало одной из причин ее отставания, усиливая необходимый для элементарного выживания общинный коллективизм (именно в XVII в. и формируется сельская община с уравнительными переделами земли). Малый ледниковый период завершился в XIX в., поэтому тяжелые засухи 1921 и 1975 гг. воспринимались советскими людьми уже как редкое стихийное бедствие, а не регулярная закономерность.

Нашествия татар и малый ледниковый период зажали Северо-Восточную Россию XIV—XVII вв. в своеобразные клещи: похолодание особенно ухудшало условия аграрного производства в северных широтах, а осваивать южные территории не давали татары.

Таким образом, коллективизм и авторитаризм, основные черты традиционной российской хозяйственной культуры, «впечатывались» в национальную ментальность не только *общими условиями мобилизационно-коммунальной среды*, но и *экстремальными* (в сравнениями с Западной Европой) *обстоятельствами* той эпохи Средневековья, когда происходило формирование российского этноса. Все это способствовало развитию в средневековой России институтов своего рода «государственного способа производства».

1.3. Импорт институтов в средневековой России

Киевская Русь — периферия Европы

Генезис российской цивилизации был и остается не только объективно трудной, но и субъективно остро политизированной научной проблемой.

С одной стороны, для изучения начального периода «русской» истории в распоряжении ученых есть очень небольшое количество источников информации. Летописная «Повесть временных лет», являющаяся единственным комплексным письменным источником для реконструкции истории Киевской Руси, создавалась во второй половине XI в. по заказу князей правящей династии Рюриковичей, поэтому достоверность ее сообщений о событиях IX—X вв. остается предметом дискуссий. Хозяйственная документация от домонгольской Руси совершенно не сохранилась, археологические методы дают ограниченные возможности для изучения социально-экономической истории.

С другой стороны, история Древней Руси с XVIII в. являлась ареной столкновения разных «патриотизмов». Еще М.В. Ломоносов выступал с «не совсем» справедливыми нападками против немецких историков, писавших о скандинавском происхождении русской государственности. В постсоветский период к дискуссиям о «призвании варягов» добавились дискуссии о соотношении исторических судеб русских, украинцев и белорусов: современные националисты хотят, чтобы их великая и независимая страна непременно имела великую и независимую историю.

Дискуссионность проблем генезиса российской цивилизации позволяет тем не менее уверенно выделить некоторые наиболее общие институциональные характеристики этого процесса:

1) формирование Древнерусского государства по модели «оседлого бандита» и

2) относительную его отсталость по отношению к западноевропейской цивилизации.

Экономисты-институционалисты выделяют два полярных типа государств в зависимости от механизмов их образования — *контрактное государство* и *государство как «оседлый бандит»*. В первом случае создание государственного аппарата есть результат добровольного «общественного договора», согласно которому подданные соглашаются платить налоги и отказываются от части своей свободы, а представители государства обязуются производить некоторые общественные блага (защищать подданных, руководить строительством крупномасштабных культовых и хозяйственных сооружений) и т.д. Благодаря авторитету Г. Гроция и Ж.-Ж. Руссо эта концепция стала идеологическим манифестом буржуазных революций Нового времени, однако в истории доиндустриальных обществ чаще встречается иной механизм политогенеза — не по Гроцию и Руссо, а по Манкуру Олсону[1]. Речь идет о формировании официальных государственных структур в процессе трансформации хаотических грабежей многих грабителей в сбор регулярной фиксированной дани одной «бандой» за отказ от грабежей и за охрану от других налетчиков. При таком подходе рождение государства объясняется рациональными действиями не просвещенных граждан, а жаждущих наживы бандитов, похожих на современных криминальных «авторитетов».

Рациональный бандит, который постоянно меняет объекты грабежа, практически совершенно не заинтересован в благосостоянии своих жертв и потому будет забирать у них все, что только можно. Естественно, «в мире, где действуют бандиты-гастролеры, никто не видит никаких… побудительных мотивов производить или накапливать все, что может быть похищено…»[2].

Ситуация принципиально меняется, когда вместо многих кочующих из одного района в другой грабителей-гастролеров формируется одна грабительская организация, монополизирующая преступную деятельность на какой-либо территории. «Пастуху» выгодно, чтобы его «овцы» были сыты; чтобы у «оседлых бандитов» были стабильно высокие доходы, им необходимо заботиться о процветании местных жителей. Поэтому рациональный «бандит»-монополист не будет грабить (забирать слишком много, «беспредельничать») на своей территории сам и не позволит делать это посторонним. Организация грабителей «увеличит свою выручку, торгуя „охраной“, защитой от преступлений, которые она готова совершить сама (если ей не заплатят), и преступлений, которые совершат другие (если она не будет держать на расстоянии посторонних преступников)»[3].

Изложенная в «Повести временных лет» легендарная история образования в IX в. государства Рюриковичей выглядит, с точки зрения концепции М. Олсона, следующим образом. Согласно «Повести временных лет», сначала восточных славян грабили, кто хотел, — с востока «наезжали» хазары, с севера варяги. Когда же грабителей-варягов изгнали, то грабить начали уже не чужеземцы, а «свои» («и восста род на род…»). Выходом из ситуации «войны всех против всех» стало приглашение в 862 г. в Новгород «варяжской бригады» Рюрика: «князей варяжских призывая, / славянский порешил совет / сказать им: „Наша Русь большая, / но на Руси порядка нет“» (А.К. Толстой). Оседлые «бандиты»-Рюриковичи постепенно ликвидировали более мелкие группировки других самостоятельных «авторитетов» (типа Аскольда и Дира) и монополизировали сбор дани, охраняя своих подданных от «наездов» других варягов и прочих «неразумных хазар».

Первоначально для повышения своих доходов «оседлые варяги», похоже, пытались увеличить сбор дани с покоренных племен. «Эксперимент» по определению пределов терпения подданных закончился в 945 г. гибелью сына Рюрика, князя Игоря (который проявил

[1] *Олсон М.* Рассредоточение власти и общество в переходный период. Лекарства от коррупции, распада и замедления темпов экономического роста // Экономика и математические методы. 1995. Т. 31. Вып. 4. С. 53—81.

[2] Там же. С. 56.

[3] Там же. С. 55—56.

себя как настоящий «беспредельщик»), после чего размеры податей пришлось регламентировать. При князе Святославе, внуке Рюрика, русь-варяги перешли к другой стратегии увеличения доходов — путем расширения контролируемой ими территории. Ликвидация в 960-е гг. конкурирующей «хазарской группировки» прошла успешно. Однако попытка захватить еще и территорию Болгарии, на которую претендовала Византия, закончилась провалом — «византийская группировка» не позволила осуществить передел сфер влияния и «заказала» гибель Святослава в 972 г. Уже при правнуке Рюрика, князе Владимире, к концу X в. потомки варягов окончательно превращаются из «оседлых бандитов» в единственно легитимную (в силу обычая) власть, заинтересованную прежде всего в поддержании порядка на уже захваченных землях. Экстенсивные методы увеличения доходов (путем усиления норм дани или путем расширения границ) исчерпываются, наступает время для интенсивных методов — налаживания мирных торговых отношений с Византией, регламентации правовых норм, институционализации власти в процессе христианизации и т.д.

Сообщаемая начальной летописью версия образования древнерусского государства может быть не совсем достоверной с точки зрения дат событий и имен персонажей, но сам сценарий политогенеза вполне достоверен. Примерно так же происходило образование и многих других раннесредневековых государств — например, средневековой Англии, созданной германскими племенами англов и саксов, которые сначала грабили бриттов, а затем, покорив Британию, начали ее защищать от викингов. Соседями Киевской Руси были два государства, созданные по схожему сценарию «завоевания родины», — Болгария и Венгрия. Отличие Киевской Руси от них заключалось в том, что если в Болгарию и Венгрию массово переселялись иноэтнические кочевники, то становление Киевской Руси не было связано с массовой миграцией извне. Кем бы ни были загадочные варяги Рюрика (скандинавами? западными славянами? пруссами?), археологи не отмечают существенного притока «чужих» на территорию Древнерусского государства.

Таким образом, государство на Руси, вероятнее всего, родилось в процессе трансформации варяжских «бандитов-гастролеров» в «оседлых бандитов», а затем и во всеми признанную единственно законную власть.

Первые государства славян (поляков, чехов, сербов) чаще всего были основаны представителями местной племенной знати. В отличие от них, согласно «Повести временных лет», Русь была основана пришедшими с Балтики викингами/варягами. По идее, это должно было привести к изначально более сильной европеизации Древней Руси. Однако по дальнейшей истории Киевской Руси совершенно не заметно, чтобы варяги «импортировали» в земли славян какие-либо передовые европейские институты, благодаря чему Киевская Русь отличалась бы от раннесредневековой Польши или Чехии. Почему?

Чтобы понять, почему варяги не «привили» русичам европейские институты, надо разобраться, кем, собственно говоря, были эти варяги. Ведь викинги/варяги — это не «национальность», а специфическая «профессия» грабителя и (или) наемного воина (и немного торговца). Для сравнения можно вспомнить историю государств крестоносцев на территории Византии в XIII—XIV вв.: европейские рыцари и воины-наемники успели вдоволь награбить, но не передали ромеям никаких западных институтов. Профессиональные головорезы Средневековья (члены рыцарских орденов Западной Европы, казаки в России, табориты в Чехии) всегда жили по правилам скорее власти-собственности, чем частной собственности. Поэтому и варяги/викинги Рюрика вряд ли могли передать восточным славянам какой-либо передовой социально-экономический опыт.

Таким образом, на вопрос, почему же варяги не «импортировали» в Киевскую Русь какие-либо передовые европейские институты, можно следующий ответ: потому что сами

были «не совсем» европейцами! Действительно, важнейшим критерием «культурности» в ту эпоху было принятие христианства, а христианизация скандинавов и западных славян завершилась только в XI—XII вв. Киевский князь Владимир Святитель, правнук легендарного Рюрика, сделал христианство государственной религией Киевской Руси еще в конце X в. — гораздо раньше, чем это произошло в тех землях, откуда предположительно пришли Рюриковичи.

Киевская Русь (IX—XIII вв.) воспринималась современниками как одна из европейских стран, Это проявляется, в частности, в многочисленных династических браках ранних Рюриковичей с правителями многих стран Европы (от стран-соседей до отдаленной Франции), которые прервались в XIII в. и возобновились только в XVIII в.

Появившаяся уже в период Киевской Руси специфика России (прежде всего слабость институтов частной собственности) еще не слишком «бросалась в глаза», поскольку и Западная Европа в этот период не завершила становление своей институциональной системы. В то же время следует отметить два очень важных институциональных сдвига, которые прошли в Западной Европе в XI—XII вв., — «*коммунальная революция*» (становление городского самоуправления) и «*папская революция*» (возрождение римского права) — и которые были пропущены зарождающейся российской цивилизацией уже в домонгольский период.

Сравним Древнерусское государство X—XII вв. с современными ему странами Западной Европы по степени развития урбанизации и сословия горожан.

В Западной Европе X—XII вв. заметно оживляется хозяйственная жизнь многих старых городов, оставшихся от античной эпохи (Рим, Милан, Париж, Лион, Лондон, Йорк, Кельн, Страсбург и др.). В то же время появляются новые города — центры ремесла и торговли, которые возникают там, где были благоприятные условия для сбыта готовой ремесленной продукции или получения сырья, на перекрестках торговых путей и т.д. (Брюссель, Антверпен, Труа, Провен, Гамбург, Любек, Венеция и др.). Параллельно с ростом городов начинает возникать цеховой строй — специфическая форма феодальной организации городского ремесла. Цехи возникают как объединения городских ремесленников одного или нескольких близких ремесел в борьбе с феодалами и служат защите производства цеховых ремесленников от внешней (от выходцев из деревни, ремесленников из других городов) и внутренней (между ремесленниками — членами данной цеховой организации) конкуренции. Одновременно формируются купеческие гильдии — объединения торговцев сходными товарами, — которые выполняли примерно те же функции, что и ремесленные цеха.

По мере роста городов их жители начинают борьбу с феодалами за городское самоуправление: цехи и гильдии объединяют свое влияние и формируют городские советы, заседающие в ратушах и претендующие на политическую власть над городами. «Коммунальное движение» превращается в своего рода «коммунальные революции», когда пешим городским ополчениям удается наносить поражения конным рыцарским армиям — достаточно вспомнить знаменитую «битву шпор» во Фландрии в 1302 г. В ходе этой борьбы городские коммуны добиваются отмены крепостной зависимости и наиболее тяжелых форм феодального гнета, некоторые города получают торговые привилегии и иммунитетные права.

Хотя Древнерусское государство скандинавы называли Гардарикой (страной городов)[1], города Киевской Руси пережили подъем в XI—XII вв., но разительно отличались от горо-

[1] Скандинавские оценки высокой урбанизации Киевской Руси не следует понимать буквально. Раннесредневековая Скандинавия была урбанизирована *очень* слабо — известно всего три поселения викингов, которые с большим трудом можно назвать городами (Бирка в Швеции, Хедебю в Дании и Каупанг в Норвегии). Викинги могли поэтому называть «страной городов» земли с гораздо более редкой сетью городских поселений, чем в странах Западной Европы, где викинги хорошо знали в основном прибрежные поселения.

дов Западной Европы. Эти отличия можно проследить даже в настоящее время: в центрах старых городов Европы высятся средневековые городские соборы и ратуши, в то время как в старых городах России есть старинные соборы (например, Софийские соборы в Киеве, Великом Новгороде и Полоцке), но никогда нет ратушей.

В социально-экономическом развитии древнерусских городов прослеживаются сильные различия между севером (модель Великого Новгорода) и югом (модель Киева).

Советский/украинский археолог Петр Толочко, основываясь на археологических данных, пришел к выводу, что в домонгольском Киеве XI—XIII вв. проживало около 50 тыс. человек[1]. По меркам Западной Европы той эпохи, это высокая численность, аналогичная, например, численности Парижа или Лондона в XII в. Однако летописные источники показывают отсутствие в составе южнорусских войск городских ополченцев и вообще отсутствие претензий горожан южнорусских земель на институционализированное самоуправление.

Например, в «Повести временных лет» в рассказе о русско-половецкой войне 1093 г. хорошо видно, что горожане Киева — одного из крупнейших городов Древнерусского государства — не воспринимались как самостоятельная военная сила[2]. Это можно интерпретировать двояко: либо городское население было малочисленно, либо многочисленные горожане были мало пригодны в качестве воинов. Из более ранних сведений о политической истории Киевской Руси известно, что жители Киева не имели личного оружия и, предлагая военную помощь князю, требовали — «дай, княже, оружие и коней»[3].

Можно сделать вывод, что городское население южных земель Киевской Руси из-за своей малочисленности и (или) дезорганизованности было не способно стать серьезной самостоятельной политической силой[4]. В истории южных земель Древнерусского государства нет ни одного события, хотя бы отдаленно напоминавшего фламандскую «битву шпор» — победоносное сражение горожан против профессиональной армии за свои интересы.

Существенно иная ситуация сложилась в северных землях — в Великом Новгороде, который по численности населения (примерно 15 тыс. человек в XIII в.) значительно уступал Киеву, но вполне соответствовал средневековому западноевропейскому «стандарту». Общеизвестно, что вечевые собрания новгородцев активно пользовались правом призывать и прогонять князя. Институционализация городского самоуправления, при котором князь выполнял роль едва ли не наемного кондотьера, произошла в 1136 г., но и ранее новгородцы, согласно летописи, многократно демонстрировали свое желание и реальные возможности «призывать князей». Высшим органом власти в Великом Новгороде являлись городское вече и «совет господ», что походило на организацию управления некоторых аристократических итальянских городов-государств (прежде всего Венеции).

Есть в истории Великого Новгорода и нечто похожее на «битву шпор». Это Липицкая битва 1216 г. Для этого крупномасштабного сражения противоборствующие княжеские группировки мобилизовали не только конные дружины, но и пешие ополчения, собранные из горожан и даже крестьян. Решающую роль в победе сыграло именно новгородское ополчение. Липицкая битва стала одним из первых сражений Средневековья, в которых пешие воины побеждали конные армии. В результате этой победы Великий Новгород смог решительно отвергнуть попытки владимиро-суздальских князей подчинить их своей власти.

Однако даже Великий Новгород сильно отличался от европейских городских коммун. В современной историографии утвердилась интерпретация Новгородской республики как боярского государства, в котором ключевую роль играли родовитые землевладельцы, потомки родоплеменной знати. В Великом Новгороде были объединения купцов, но их влияние на управление государством оставалось незначительным. Ремесленники Новгорода жили по дворам бояр и не создавали никаких объединений, похожих на западные цехи. Новгородские бояре выступали от лица горожан, принимали основные решения при поддержке горожан, но отнюдь не привлекали самих горожан к прямому участию в управлении страной. Поэтому новгородское самоуправление ближе к шляхетской демократии Речи Посполитой XVI—XVIII вв., чем к городским коммунам Западной Европы XI—XV вв.

Низкой самостоятельности древнерусского «третьего сословия» соответствовала и относительно слабая правовая регламентация хозяйственной деятельности. Достаточно указать на необычайное долгожитие «Русской Правды»: составленный в XI в., этот свод правовых норм сохранял практическое значение вплоть до Уложения 1649 г., т.е. примерно 500 лет. Конечно, для регулирования использовались и другие правовые акты («судные грамоты», судебники), но потребность в систематизации правовых норм была слабой — видимо, вполне хватало ссылок на «дух закона». Правовое регулирование играло важную роль в защите интересов князей-Рюриковичей и служащих им людей, но не слишком способствовало общей спецификации прав собственности.

Кроме отставания в развитии городов и права можно указать и на некоторые другие проявления периферийности Киевской Руси по отношению к Западной Европе. Например, регулярная налоговая система (основа жизнедеятельности любого «нормального» государства) появилась в России только во второй половине XIII в., когда под давлением татаро-монгольских завоевателей впервые была проведена «перепись населения» и установлен норматив регулярных выплат. Для сравнения можно вспомнить английскую «Книгу Страшного суда» (1086), которая содержит результаты «переписи населения», проведенной в Англии почти на два столетия раньше. Справедливости ради следует подчеркнуть, что и в раннесредневековой Западной Европе подобный «учет и контроль» еще не стал повседневной нормой, из-за чего свод результатов английской «переписи» получил такое «устрашающее» название.

Слабое развитие урбанизации, права и регулярного налогообложения имеют, вероятно, единый источник. Это *высокая степень поглощенности людей Древнерусского государства различными общинными коллективами*, в то время как перечисленные западноевропейские институты работали, при всех оговорках, на «разобщинивание» инидивидов.

Итак, можно сделать общий вывод, что еще до монголо-татарского нашествия XIII в. социально-экономическое развитие Киевской Руси существенно отличалось от западноевропейского. Русское государство XIII—XVII вв. (именно этот период принято считать време-

---

[1] *Толочко П.* Демография Древнего Киева // Наука и жизнь. 1982. № 4 (URL : http://smbr.ru/sg/ua/ddk.htm).

[2] Летописец сообщает: «В это время пришли половцы на Русскую землю… И не захотели половцы мира, и наступали половцы, воюя. [Киевский князь] Святополк же стал собирать воинов, собираясь против них. И сказали ему мужи разумные: „Не пытайся идти против них, ибо мало имеешь воинов“. Он же сказал: „Имею отроков своих 700, которые могут им противостать“… Разумные же говорили: „Если бы выставил их и 8 тысяч, и то было бы худо… Но пошли к брату своему Владимиру, чтоб он тебе помог“». Святополк, таким образом, решил выставить против атакующих половцев всего лишь 700 своих дружинников — больше поставить «под ружье» было некого, хотя бойцов требовалось как минимум в 10 раз больше. О какой-либо роли киевлян в драматических событиях этого крайне тяжелого года борьбы с половцами в летописи не сказано ни слова.

[3] Многочисленное население крупного города, конечно, вряд ли было *совершенно* безоружным и вполне могло в экстренных обстоятельствах взять политическую инициативу в свои руки. Примером может быть восстание в Киеве в 1068 г. в пользу Всеслава Полоцкого против князя Изяслава Ярославовича, чья дружина накануне восстания полегла в битве против половцев. Но сила вооруженных киевлян вряд ли была сколько-нибудь крупной: когда изгнанный князь пошел на Киев при поддержке поляков, то Всеслав Полоцкий тайно бежал из Киева, а восставшие капитулировали, даже не решившись дать сражение.

[4] *Попов Г.Г.* Социально-экономическое развитие и историческая демография Руси IX — начала XV в. М. : Изд-во МГОК, 2011. С. 43—45.

нем этногенеза русских — этнического ядра современных россиян) еще более отдалилось от западного пути развития, приближаясь к «восточному деспотизму».

Импорт в Россию институтов «восточного деспотизма»

Россия — окраина не только Запада, но и Востока. Здесь нет ирригационного земледелия, нет необходимости организовывать крупномасштабные общественные работы производственного назначения, как в странах «нормального» азиатского способа производства (Египет, Ближний Восток, Китай, империя инков). Хотя производственная среда российской цивилизации и создает предпосылки для «азиатского деспотизма», его развитие в России обусловлено не столь жестко и необходимо, как в странах «настоящего» Востока. Для понимания особенностей социально-экономического строя средневековой России надо помнить, что она стояла «на семи ветрах», подвергаясь влиянию как восточных, так и западных институтов. «Ветер» Востока одолевал в средние века «ветер» Запада хотя бы потому, что сильные восточные страны были ближайшими соседями, а страны западной цивилизации заметно отдалены.

Средневековая Россия испытала наиболее сильное влияние со стороны трех соседних стран-гегемонов — Византии, Золотой Орды и Турции. И каждый раз это влияние вело к импорту именно институтов «восточного деспотизма». В результате возникает «*эффект матрешки*»: подобно тому как «исконно русские» матрешки на самом деле начали изготавливать в России лишь в самом конце XIX в. по образцу японской куклы нинге, так и многие «исконно русские» социально-экономические институты отражают не столько самобытные институциональные инновации, сколько влияние восточных «соседей». Россия — это не только «третий Рим», но также «вторая Золотая Орда» и «параллельная Османская империя».

На развитие русской цивилизации изначально неизгладимый отпечаток наложило принятие христианства в его православной разновидности с характерными для *православной хозяйственной этики* низкими оценками мирского труда, обрядоверием и цезаризмом.

Хотя христианская доктрина признает в принципе ценность преобразовательного труда (и тем отличается, например, от буддизма, который видит в земной жизни одно лишь страдание), но сам этот труд рассматривается различными христианскими конфессиями существенно по-разному. В отличие не только от появившихся позднее протестантских вероисповеданий, но и от современного ей католицизма восточно-христианская религиозная традиция рассматривала *труд как неприятную необходимость*, наказание человечеству за первородный грех. Русское православие не давало высших духовных санкций для активной работы в миру. Физический труд, производство потребительских благ, занял в православной культуре подчиненное место по сравнению с трудом духовным, молитвой[1]. Сфера земного, материального благополучия котировалась невысоко, материальный труд нигде не ставился в один ряд со спасением и терпением. Самоутверждение было направлено внутрь себя, на «устроение» собственной личности[2]. Подобные факторы обусловили «нерыночность» русского национального характера, преобладание этики выживания, отношение к накопительству и собственности как к отрицательным ценностям[3].

[1] «В целом можно сказать, что православие призывает „молиться и трудиться“, в то время как формула католицизма — „трудиться и молиться“, а протестантизм убежден в том, что труд и есть молитва» (*Коваль Т.* Этика труда православия // ОНС. 1994. № 6. С. 59). См. также: *Тюгашев Е.А.* Православное отношение к труду в зеркале нравственного богословия // Человек. Труд. Занятость. Вып. 2. Новосибирск, 1998. С. 40—50.

[2] *Касьянова К.* О русском национальном характере. М. : Институт национальной модели экономики, 1994. С. 118.

[3] *Клопыжникова Н.М.* Влияние традиционной крестьянской культуры на становление рыночных отношений на селе // Проблемы перехода России к рыночной экономике. Вып. V. М. : МОНФ, 1996. С. 103—106.

«Антиэкономизм» православия обусловил существование *бедности как типа культуры*. Русской культуре свойственно более терпимое и сочувственное, чем на Западе, отношение к неудачникам в хозяйственной деятельности, а сама по себе бедность не воспринималась как признак отверженности. Помощь бедным составляла важнейшую нравственную обязанность русского христианина. Нищенство долго не воспринималось как экономическое бремя или девиация, а материальное благосостояние человека отделялось от его собственной активности и ответственности. Таким образом, православное христианство при помощи этических норм закрепило перераспределительные обычаи крестьянской общины.

Другая отличительная особенность русского православия — его сосредоточенность не столько на содержании моральных заповедей, сколько на форме религиозных обрядов. Характерно, что если католические мыслители западноевропейского Средневековья упорно занимались систематизацией теологии, сделав ее своего рода «религиозной наукой», то русское средневековое православие ничем в этом смысле себя не прославило. Более того, незнание «мудрствований» языческих философов служило объектом своеобразной гордости, считалось проявлением «чистоты» веры. В то время как западноевропейская Реформация XVI—XVII вв. проходила в яростных дискуссиях о свободе воли, о границах прерогатив духовной и светской власти, в Московии религиозный раскол XVII в. произошел по смехотворному (конечно, с точки зрения европейца) разногласию о том, сколькими пальцами надо креститься и как надлежит произносить имя Бога. Подобное *обрядоверие* подавляло в человеке индивидуальное начало и склонность к новаторскому поиску, развивало вместо личного самоконтроля склонность бездумно следовать за массой, «быть как все».

Таким образом, русское православие культивировало *традиционализм* российской экономической культуры. «Традиционалистский» строй мышления выражается, в частности, в том, что человек не склонен заработать больше, он просто хочет жить так, как привык. Как отмечал еще М. Вебер, при затруднениях традиционалисты не меняют строй жизни, а сокращают потребности[1].

Помимо склонности ценить религиозный обряд выше религиозной мысли Россия унаследовала от Византии и такую малопривлекательную черту, как *цезаризм* — преклонение духовной власти перед светской.

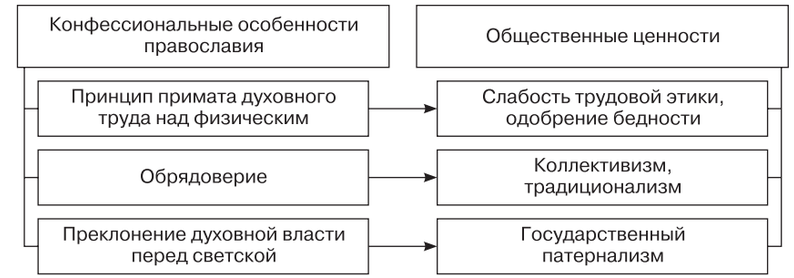


Рис. 1.9. Православная этика как фактор формирования российской хозяйственной культуры

Источник: Экономические субъекты постсоветской России. М. : МОНФ, 2001. С. 95.

[1] *Вебер М.* Протестантская этика и дух капитализма / Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 81—88.

Если в Западной Европе римские папы на протяжении всей средневековой эпохи рассматривали свою власть как во многом конкурентную по отношению к власти королей и императоров, то в Византии базилевсы с оппозицией патриархов почти не сталкивались. В средневековой России церковь тоже всегда занимала позицию помощника централизованной власти, а не оппозиционного центра власти (патриарх Никон стал единственным исключением, а его быстрое низвержение лишь подтвердило правило). Позже, уже в эпоху нового времени, цезаризм православия дошел до такой степени, какая была немыслима даже в Византии: в XVIII в. земли церкви были секуляризованы, а священнослужители превращены в государственных чиновников на жаловании, и это не вызвало среди них сколько-нибудь заметного протеста. В результате церковь окончательно превратилась из института, конкурентного по отношению к государству, в институт, целиком и полностью ему подчиненный.

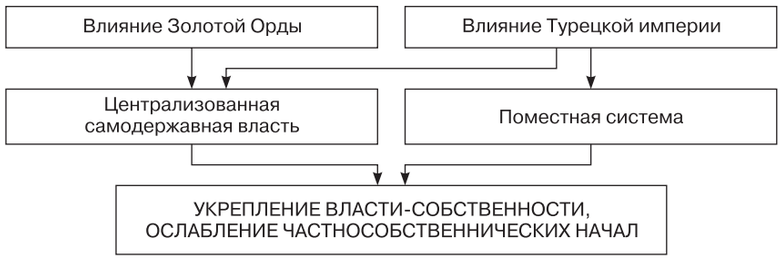


Рис. 1.10. Институты «восточного деспотизма» как фактор формирования российской хозяйственной культуры

Естественно, что русский вариант православия неразрывно связан с идеологией *государственного патернализма*, когда авторитет церкви ставится на службу интересам государства.

Итак, из воспринятого Россией византийского наследия главным стала традиция православия как «общинно-государственного христианства», культивирующего ценности государственного авторитаризма и общинного коллективизма (рис. 1.9).

Византия, как и Россия, относилась к странам «буферного» типа, лежащим между Востоком и Западом, а потому соединяющим институты их обоих. Однако с XIII в. главным «экспортером» институтов для России стали чисто восточные страны — сначала Золотая Орда, потом Турция (рис. 1.10). Под их влиянием даже ранее усвоенные Россией византийские институты стали приобретать еще более ориентализированный характер. Это можно назвать «*эффектом шапки Мономаха*»: подобно тому как в знаменитой реликвии русских самодержцев подозревают не наследие византийского императора, а подаренную в Золотой Орде тюбетейку, многие элементы институционального якобы византийского наследия (например, самодержавие) отражают влияние не столько Византии, сколько стран Востока.

Сама по себе Золотая Орда, созданная кочевниками-тюрками, никаких институциональных инноваций не создавала. Административный аппарат империи Чингисхана комплектовался из китайцев и персов, поэтому Золотая Орда стала транслятором институтов «восточного деспотизма» стран Ближнего и Дальнего Востока, внедряемых принудительно, под угрозой оружия.

Главная институциональная инновация, пришедшая с Востока, — это, конечно, *централизованная самодержавная власть*. В Киевской Руси власть правителя оставалась сильно

ограниченной вечевыми порядками, боярскими кланами, другими представителями правящей династии. На Востоке хан/император/султан стоял высоко над всеми, даже над своими близкими родственниками, являясь повелителем их жизни и смерти. «Все настолько находится в руке императора, что никто не смеет сказать „Это мое или его“, но все принадлежит императору, то есть все имущество, вьючный скот и люди», — писал Плано Карпини о власти-собственности в Монгольской империи[1]. Такое понимание прерогатив высшей власти было постепенно усвоено и русскими князьями. Они прекратили выделять уделы своим многочисленным потомкам и тем самым дробить государство. Что касается старого боярства, успевшего во времена раздробленности Киевской Руси завоевать некоторую степень независимости от князей Рюриковичей, то оно в Северо-Восточной Руси было почти полностью перебито во время татарского нашествия, «новые бояре» гораздо более зависели от князя. Упадок городов неизбежно вызвал и упадок вечевых порядков, сохранившихся лишь там, куда не дошли татары, — в Новгороде и в западнорусских землях.

Помимо этой главной инновации из Золотой Орды пришло немало более частных, призванных способствовать государственной централизации: регулярное налогообложение пропорционально имущественному достатку, переписи населения, ямские станции[2]. Когда Н.М. Карамзин писал, что Московская Россия «обязана своим величием [татарским] ханам», то он был во многом прав. С одним уточнением — ханам обязана прежде всего та Россия, которая признала «необходимость самовластья и прелести кнута».

Импорт институтов «восточного деспотизма» происходил во всех княжествах Северо-Восточной России. Правители Московского княжества оказались, видимо, наиболее «прилежными» и удачливыми «учениками» золотоордынских ханов, поэтому именно Москва стала, по существу, наследником Золотой Орды. Вряд ли можно сомневаться, что если б первенство в объединении русских земель перехватило другое княжество, то, скажем, «тверское самодержавие» мало чем отличалось бы от московского. Эта унификация институтов вассальных Орде русских княжеств сильно облегчила затем их объединение, зато затруднила присоединение тех земель (Новгород и Псков, западнорусские земли), которые не подвергались сколько-нибудь длительному татарскому игу.

Когда Московское государство стало политически независимым, импорт восточных институтов продолжился, но теперь объектом подражания стала набиравшая силу Турецкая (Османская) империя. Если «татарские» институты внедрялись принудительно, «плеткой баскака», то внедрение «турецких» институтов явилось, напротив, результатом сознательного и добровольного выбора правителей Московии, пожелавших соединить «веру христианскую» с «правдой турецкой»[3].

Главным институтом, заимствованным московитами у турок, считают *поместную систему* как основу многочисленного и хорошо оснащенного войска. Турецкая армия состояла в основном из тимариотов — держателей надела за воинскую службу. Взятие Константинополя в 1453 г. стало яркой демонстрацией мощи турецкой армии, и уже в 1480-е гг. Иван III начал поместную реформу, направленную на расширение поместного землевладения за счет сокращения вотчинного, а также на максимальное приближение вотчинников к статусу помещиков. В недавно присоединенном Новгороде почти все «старые» землевладельцы были выселены, их земли конфискованы, переписаны и розданы московским воинам

[1] *Карпини Джиованни дель Плано*. История монголов. М., 1957. С. 45—46.

[2] О влиянии Золотой Орды на становление российской цивилизации см., например: *Нефедов С.А.* А было ли иго? (URL : http://hist1.narod.ru/Science/Russia/Mongol.htm).

[3] О заимствовании турецких институтов см.: *Нефедов С.А.* Реформы Ивана III и Ивана IV: османское влияние // Вопросы истории. 2002. № 11. С. 30—53 (URL : http://book.uraic.ru/elib/Authors/Nefedov/Science/Russia/Osman.htm).

в поместья. Затем начались переписи земель, конфискации и поместные раздачи в других уездах. При Иване III и его сыне Василии III урезаются права вотчинников — большинство их лишились податных иммунитетов.

Высшей точкой сознательной «османизации» Московского государства и одновременно апогеем развития институтов власти-собственности стала, видимо, эпоха Ивана IV. В 1555 году произвели четкое нормирование служебных обязанностей: с каждых учтенных в писцовых книгах 150 десятин «доброй земли», помещичья она или вотчинная, обязательно выставлялся конный воин на коне и в доспехе. Для давления на вотчинников в 1562 г. был принят указ, согласно которому запрещалась продажа родовых княжеских вотчин, при отсутствии прямого наследника вотчины отбирались в казну. Этим указом запускался механизм постепенной почти полной конфискации вотчинных земель. Если до «турецких» реформ поместные пожалования уступали вотчинам, то теперь ситуация меняется: в 1540-е гг. в центральных уездах вотчины и поместья были примерно равными половинами частновладельческих земель, а к началу XVII в. поместья составляли уже более 60% частновладельческих земель.

Впрочем, кризис начала XVII в. показал, что в российских условиях курс на «развотчинивание» (своего рода «раскулачивание») чреват негативными последствиями. Хотя вотчины отличались от поместий скорее количественно, чем качественно, но и этих отличий было достаточно, чтобы, по словам советских клиометриков, «вотчинный тип феодальной собственности по всем факторам, на разных классах показателей, отличался более оптимальными характеристиками, чем тип поместного феодального землевладения»[1]. Имея несколько более веские основания рассматривать имение как свою собственность, которую можно будет оставить в наследство детям, владельцы вотчин лучше заботились о своих крестьянах, чем владельцы поместий.

После Смуты Романовы начали своеобразную «денационализацию», щедро разрешая переводить помещичьи владения в вотчинные. К концу XVII в. доля помещичьего землевладения сократилась до 40%[2]. Если ранее вотчины сближались с поместьем, то теперь, наоборот, поместья стали сближаться с вотчинами. В частности, уже при Михаиле Романове был узаконен переход имения в род помещика, умершего бездетным, — мероприятие, диаметрально противоположное указу 1562 г.

«Ветер с Востока» стал ослабевать в XVII в., когда в мировой истории обозначилось первенство западного пути развития над восточным. Смена в Московском государстве династии Рюриковичей династией Романовых совпала и с переменой направления поиска образцов для подражания.

Импорт институтов западноевропейского феодализма

Выбор образцов для институционального подражания в доиндустриальных обществах определяется в первую очередь военной силой: лучшим считается общественной строй той страны, чья армия регулярно всех побеждает. Те страны, которые потерпели поражение, принимают «правила игры» победителя под давлением силы оружия (русские княжества под властью Золотой Орды). Те страны, которые сохраняют независимость,

[1] *Милов Л.В., Булгаков М.Б., Гарскова И.М.* Тенденции аграрного развития России первой половины XVII столетия. Историография, компьютер и методы исследования. М. : Изд-во Московского университета, 1986. С. 285.

[2] Данные о соотношении вотчинного и помещичьего землевладения см.: *Зимин А.А.* Реформы Ивана Грозного. М., 1960. С. 76—78; Собственность в России: Средневековье и раннее Новое время. М. : Наука, 2001. С. 53.

по собственной инициативе копируют «правила игры» сильного соседа, чтобы сравняться с ним (Московское государство XV—XVI вв.).

В XVI—XVII века в мировой (в масштабах Старого Света) конкуренции восточного и западного типов цивилизации происходит решительный перелом. Ранее западноевропейская цивилизация отступала: к концу XIII в. полностью потеряны завоевания крестовых походов на Ближнем Востоке, не удалось дать решительный отпор ни монголо-татарам в 1240—1241 гг., ни туркам, покорившим в XV в. Балканы и приступившим в начале XVI в. к завоеванию Центральной Европы (Венгрии). Единственным выигрышем Европы в этот период стала завершившаяся в 1491 г. успешная Реконкиста на Иберийском полуострове. На протяжении XVI в. наблюдалось неустойчивое равновесие сил: поражения турок при осаде Вены (1529) и Мальты (1565), а также в морском сражении при Лепанто (1571), казались временными неудачами. Точкой перелома стал разгром турецкой армии во время второй осады Вены (1683), после чего европейские армии стали регулярно (хотя и не всегда) побеждать турецкие и любые восточные армии.

После перелома в борьбе с Турцией последовал перелом в колониальной экспансии стран Западной Европы в Азии. До XVII века включительно европейцы на Востоке действовали не столько как завоеватели, сколько как просители, выпрашивающие торговые привилегии[1]. Наличие у европейцев огнестрельного оружия отнюдь не играло решающей роли, поскольку на Востоке оно тоже было хорошо известно[2]. Конфликты европейцев с восточными правителями могли завершаться как победами, так и поражениями (поражение португальцев в Бирме в 1610-е и в Анголе в 1640-е гг., изгнание голландцев с Тайваня в 1660-е гг., изгнание всех европейцев из Эфиопии в 1630-е и из Сиама в 1680-е гг.). Точкой перелома в колониальной экспансии стала битва при Плесси (1757) в Индии, после которой экспансия Западной Европы в страны Азии и Африки приобрела неудержимый характер.

Перелом XVI—XVIII вв. в конкуренции западных и восточных цивилизаций не случайно совпадает с эпохой генезиса капитализма. Как в экономике происходил переход от мелкого самостоятельного производства к наемному труду под единым управлением, так и в военном деле иррегулярные рыцарские армии сменялись централизованно управляемыми регулярными наемными армиями. «Военная революция» XVI—XVII вв. привела к массированному использованию артиллерии, а также к переходу от преимущественно конной к преимущественно пешей армии[3]. Новые «правила игры» в военном деле (а отнюдь не лучшее вооружение само по себе) привели к тому, что европейские войска научились регулярно побеждать восточные армии, имея гораздо (часто на порядок) меньшую численность. Изменения в военной организации были органически связаны с изменениями в экономике: для содержания регулярной армии необходимы полноценные наличные деньги и общая монетизация хозяйства, для этого необходимо стимулировать экспортную торговлю с активным платежным балансом, создавать регулярное налогообложение и т.д.

[1] Яркий пример слабости европейцев в отношениях с централизованными восточными монархиями — согласие голландцев с 1630-х гг. торговать с Японией исключительно через порт Нагасаки под строжайшим контролем государственных чиновников. Эту привилегию голландцы получили за то, что в 1637 г. помогали правительству Японии подавить восстание японских христиан. Все прочие европейцы (испанцы и португальцы) были из Японии изгнаны.

[2] Победы Бабура (основателя династии Великих Моголов) в начале XVI в. и Иясу Токугавы (основателя династии Токугава) в начале XVII в. связывают именно с массированным применением огнестрельного оружия, причем не привезенного из Европы, а собственного производства.

[3] *Пенской В.В.* Великая огнестрельная революция. М. : Эксмо ; Яуза, 2010.

Средневековая Россия смогла понять последствия западноевропейской «военной революции» очень быстро, поскольку армия московитов регулярно воевала с Речью Посполитой и Швецией. Уже во время Ливонской войны обнаружилась слабость поместной военной системы, дополненной немногочисленным (из-за малочисленности городского населения) стрелецким войском. Во время Смуты неэффективность традиционной военной организации выявилась еще ярче — правительству царя Василия Шуйского пришлось даже нанимать в 1609—1610 гг. отряд шведских солдат под руководством Якоба Делегарди.

Реформы по созданию регулярной армии и стимулированию экспортной торговли начались в Московии сразу после завершения Смутного времени, уже в 1630-е гг., и производились с ориентацией на опыт не Турции, а Голландии и Швеции[1]. С этого времени русские реформаторы стали сознательно стремиться подражать именно Западу, а не Востоку.

Конечно, на первых порах это подражание касалось в основном наиболее поверхностных институтов (армия, производство военной техники), глубинные «правила игры» власть изменять упорно не желала. Поэтому на протяжении XVII в. одновременно происходило усиление как некоторых прозападных, так и некоторых провосточных институтов: например, завершение институционализации крепостного права в Уложении 1649 г., чтобы крестьяне не могли уйти от своего помещика/вотчинника, и начало создания в 1650-е гг. регулярной профессиональной армии (полков нового строя), для которой уже не нужны военно-служебные пожалования. Поражения традиционной поместной конницы (например, в сражениях под Конотопом в 1659 г. и под Чудново в 1660 г.) и успехи реорганизованной пехоты (в частности, бои с турками под Чигирином в войне 1672—1681 гг.) повышали заинтересованность царского правительства в прозападной модернизации, каждый новый царь оказывался «вестернизирован» сильнее предыдущего. В то же время конфессиональный барьер, обострившийся после Смуты, оставался сильным тормозом для сознательного импорта политической элитой «латинских» институтов. Преодолеть его удалось лишь Петру I, который демонстративно отвергал многие российские традиции и проявлял открытую приверженность западным «правилам игры».

Западноевропейская цивилизация выступала по отношению к России не только объективным примером для подражания, но и сознательным транслятором новых «правил игры». Однако между российским спросом на институты и западноевропейским предложением институтов существовал острый диссонанс. Московия желала перенимать в первую очередь военные технологии; Запад не желал военного усиления Московии (не без оснований опасаясь ее агрессии), зато активно стремился навязать ей свои конфессиональные институты. Ситуация усугублялась тем, что транзит западных институтов шел в русские земли в основном через Польшу и Швецию — далеко не самые передовые страны европейской цивилизации.

Попытки подчинить российскую церковь Риму, а не Константинополю, велись едва ли не с момента принятия Киевской Русью христианства. Давление католицизма на православие стало главной формой сознательного импорта западноевропейских институтов. Оно дало определенный эффект на рубеже XVI—XVII вв., когда начало проявляться существенное военное и культурное первенство Запада. Поражение Московии в Ливонской войне и трагедия Смутного времени существенно снизили авторитет «Третьего Рима» среди русского (украинского и белорусского) населения Речи Посполитой. В это же время

[1] *Нефедов С.А.* Первые шаги на пути модернизации России: реформы середины XVII века // Вопросы истории. 2004. С. 33—52.

сформировалось и противопоставление «образованной» Западной Европы «неграмотной» Московии. Ведь Московия только к концу XVI в. (с более чем столетним опозданием) освоила книгопечатание, только к концу XVII в. в Московском государстве стали появляться университетские институты (открытая в 1687 г. в Москве Славяно-греко-латинская академия). Католическая Речь Посполитая стала главным транслятором институтов западного христианства на русские земли. Это проявлялось и в давлении на православных подданных самой Речи Посполитой, и в попытках завоевания Московского государства.

Под влиянием этой демонстрации военного и культурного превосходства Запада в восточных районах Речи Посполитой православная идентичность с конца XVI в. активно размывалась. Православные дворяне добровольно и массово переходили в католицизм, простонародье — менее массово и часто под принуждением — в униатство (согласно Брестской унии 1596 г., униаты сохраняли в основном православную обрядность, но подчинялись римскому папе). Когда в 1605 г. русским царем стал польский ставленник Лжедмитрий I, а вскоре после его убийства московские бояре избрали царем (при обязательном условии принятия православия) Владислава, сына короля Речи Посполитой Сигизмунда, то казалось, что это даст сильный импульс сближению западного и восточного христианства (и других институтов). Однако это «окно возможностей» просуществовало очень недолго, исчезнув в 1612 г.

В целом экспорт западного христианства в Россию оказался малоэффективным. Даже в русских землях Речи Посполитой сохранилось доминирование православия, в Московском же государстве насильственное распространение униатства среди русских подданных Речи Посполитой воспринималось резко враждебно, усиливая стремление «освободить» их. Защита православия стала одним из главных лозунгов многочисленных казацких мятежей, закончившихся победоносным восстанием под руководством Богдана Хмельницкого и отделением от Речи Посполитой значительной части русских земель. Самое главное, укрепление католицизма и униатства в «Западной России» дало сильный импульс развитию русского образования, но не привело к формированию новых культурно-хозяйственных норм. Это связано с тем, что после Контрреформации второй половины XVI в. усилился антиэкономизм католицизма — проповедовалась идеологема, что защита истинной (католической) веры и спасение души являются высшей целью, которую нельзя разменивать на сиюминутные материальные выгоды. Что касается «протестантской этики», то она вообще не смогла проникнуть в русские земли. Католические правители Речи Посполитой целенаправленно не допускали распространения протестантизма, считая своим долгом фанатично бороться против всех форм иноверия — как православного, так и протестантского.

Таким образом, попытки Запада вестернизировать Россию дали в эпоху раннего Нового времени обратный результат: отчуждение России от Западной Европы не уменьшилось, а увеличилось. Проникновение в русские земли прозападных институтов происходило не столько *благодаря* политике стран Запада, сколько *вопреки* ей.

Гетерогенность российской средневековой цивилизации

«Пограничный» характер российской цивилизации — «буфера» между цивилизациями Запада и Востока — привел к тому, что побеждающая *московская модель* отношений власти-собственности все же наталкивалась на противодействие иных моделей социально-экономического развития русской цивилизации.

На протяжении XIV—XVII вв. в рамках относительно единой русской цивилизации, объединенной русским языком и православной верой, сосуществовали четыре разные институциональные модели (рис. 1.11):

1) московская (на протяжении всего периода);
2) новгородская (до конца XV в.);
3) литовская (до конца XVII в.);
4) казацкая (XVI—XVII вв.).

Новгородская модель отражала сохранившуюся со времен Киевской Руси самобытную традицию частнособственнических отношений, *литовская модель* — традицию западного пути развития, а *казацкая модель* — разновидность отношений власти-собственности, причем более примитивных, чем доминировавшие в Московском государстве. Таким образом, одним из главных сюжетов институциональной истории средневековой России является постоянное противоборство двух институциональных систем, двух наборов формальных правил и неформальных ограничений — основанной на восточной власти-собственности и основанной на западных принципах уважения прав частной собственности.

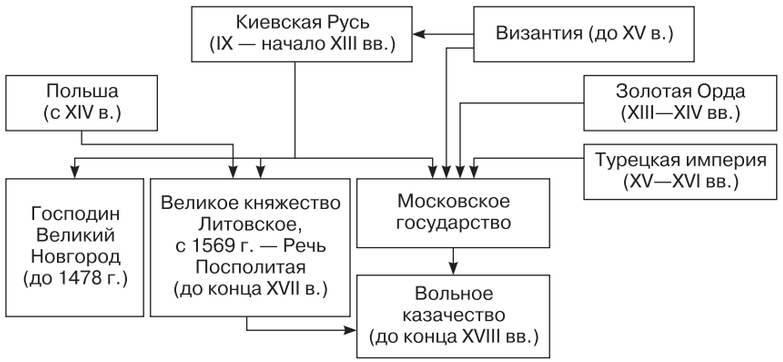


Рис. 1.11. Альтернативные институциональные модели и импорт институтов в средневековой России

Все три альтернативных варианта развития российской цивилизации потерпели поражение в конкуренции с московским «вотчинным государством». Анализ этого противоборства позволяет лучше понять механизмы институциональной конкуренции и увидеть те точки бифуркации, когда развитие российской цивилизации могло бы пойти иным путем.

Конкуренцию различных моделей российской цивилизации принято трактовать либо как борьбу за объединение России, либо как противоборство между реакционным самодержавием и прогрессивной свободой. Реальная историческая действительность несводима к этим трактовкам. Объединение культурно-единого народа в рамках единого государства не является неизбежным и обязательно исторически прогрессивным. Например, история немецкого/германского народа, который в настоящее время проживает в четырех странах (Германия, Австрия, Швейцария, Люксембург) и практически никогда не был политически объединен, убедительно доказывает необязательность объединения народа «любой ценой». Противников московского самодержавия тоже не всегда можно считать защитниками свободы — например, во время Смуты «свободолюбивые» казаки яростно боролись за свободу для себя, но ценой их свободы должно было стать усиление угнетения всех остальных, кого казаки откровенно грабили. Понимание истории XIV—XVII вв. как столкновения разных моделей развития российской цивилизации осложняется тем, что современная ситуация — политическая самостоятельность Украины и Белоруссии — проецируется в прошлое, из-за чего истории разных русских государств (с примерно одинаковыми языком и религией) трактуются как истории совсем разных народов.

Острые политические конфликты между разными русскими государствами в XIV—XVII вв. целесообразно трактовать именно как конкуренцию — как поиск такой институциональной системы, которая была бы наиболее эффективной в конкретных условиях места и времени. Эта институциональная конкуренция хорошо показывает эффект зависимости от предшествующего развития, когда «браковались» такие институциональные системы, которые были неэффективны «здесь и сейчас», но содержали перспективные элементы, которые могли бы сыграть свою прогрессивную роль в дальнейшей истории.

1.4. Институциональная конкуренция в средневековой России

Противоборство московской социально-экономической модели в XIII—XV вв. с альтернативными моделями развития русской цивилизации шло «на два фронта» — против Новгородской боярской республики и против Великого княжества Литовского. Обе они развивались под влиянием западных институтов (влияние Ганзы на Новгород, Польши на Литву) и демонстрировали более высокую степень политической и экономической свободы, чем московское самодержавие.

Альтернатива Господина Великого Новгорода

Раньше всего удалось покончить с Новгородом. Если в XIV в. Новгородская республика ограничивала свою зависимость от Москвы выплатой дани для пересылки в Золотую Орду, то после разгрома на Шелони в 1471 г. Новгород признал себя «отчиной» московского великого князя, а в 1478 г. остатки самоуправления были полностью ликвидированы.

Новгородская боярская республика являлась своеобразным городом-государством, в котором полнотой прав обладали только потомственные новгородские бояре (40 семей — «300 золотых поясов»), в меньшей степени — незнатные коренные жители Господина Великого Новгорода. Собственность здесь была относительно независима от власти: если новгородские бояре являлись одновременно и политическими руководителями, и крупнейшими землевладельцами, то «житьи» (категория населения, похожая на афинских метеков) не обладали полнотой политических прав, но могли иметь обширные земельные владения, не уступавшие боярским. Приглашаемый на временную службу князь выступал почти исключительно как военачальник, своего рода кондотьер, не имеющий прав вмешиваться в поземельные отношения.

Новгородский социально-экономический строй, резко отличаясь от московской власти-собственности, однако никогда не представлял сколько-нибудь сильной политической альтернативы Москве. Это заметно хотя бы в том, что присоединение Новгорода шло в XV в. как «игра в одни ворота»: новгородцам ни разу не удалось дать эффективного отпора москвичам.

Относительно легкая победа Москвы над Новгородом может показаться странной. Ведь новгородская вечевая демократия потенциально являлась более перспективным институ-

том конституционного выбора, чем авторитаризм московских князей. Аналогично, уровень и качество жизни новгородцев были не ниже, а выше, чем у москвичей.

Исход конкуренции разных региональных моделей определялся в доиндустриальных обществах прежде всего преимуществами военного потенциала. Поскольку московская армия комплектовалась воинами, получавшими служебные имения, то вотчинно-помещичья система давала растущий эффект от масштаба: чем больше земель присоединяла Москва, тем многочисленнее была ее профессиональная армия. Бояре и помещики присоединяемых княжеств либо изъявляли покорность Москве и вливались в ее армию, либо, если они успели зарекомендовать себя противниками Москвы, подвергались репрессиям, а их земли раздавали лояльным к новой власти воинам.

Военная система Новгорода основывалась на сочетании использования дружины приглашенного служивого князя с городским ополчением. Поскольку у неполноправных жителей пригородов и погостов не было особого резона защищать новгородскую свободу, то никакого эффекта от масштаба не возникало — присоединение новых земель не увеличивало числа жителей Господина Великого Новгорода, из которых набиралось ополчение. Самое главное, до распространения огнестрельного оружия многочисленное непрофессиональное ополчение, как общее правило, не могло эффективно противостоять немногочисленному профессиональному войску. Рост налоговых сборов с новых погостов мог привести к расширению профессиональной наемной армии; однако наемничества западноевропейского типа в средневековой России никогда не было, поэтому приезжавшие в Новгород служивые князья не могли увеличивать свою дружину. Лишь пока Новгород боролся с иноземными захватчиками (как в XIII в. с Тевтонским орденом), он получал поддержку от русских князей. Во время же военного противоборства с московскими князьями новгородская демократия могла рассчитывать только на собственные силы. К тому же после реформ 1410-х гг. вечевая демократия практически исчезла, сменившись боярской олигархией (наподобие средневековой Венеции). Оказавшись в значительной степени отчужденными от управления, «черные люди» Новгорода имели меньше стимулов защищать республиканские институты[1].

Преимущества военной организации привели к тому, что история Московского княжества — это история его непрерывного расширения, в то время как территория Новгородского княжества-республики почти не менялась. Новгородцам удавалось обложить данью все новые малонаселенные северные земли, но собственно русские земли под властью Новгорода даже сокращались: едва Псков стал достаточно сильным, в 1348 г. он отделился от «старшего брата» и стал самостоятельным княжеством-республикой, причем — для противовеса Новгороду — с промосковской ориентацией. Точно так же, как города-государства Киевской Руси были бессильны перед единой Золотой Ордой, Новгород оказался бессилен перед Москвой. Откупаясь с середины XIV в. от сильных соседей, Новгород лишь отсрочивал потерю независимости.

Таким образом, в противоборстве с Москвой Новгород мог только обороняться, а такая стратегия делала потерю его независимости вопросом времени. Единственной альтернативой насильственному присоединению к Москве было присоединение к Великому княжеству Литовскому. В XV веке новгородские бояре действительно стали все чаще приглашать служивых князей из Литвы, но Иван III успел пресечь намечавшийся переход Новгорода под власть/протекторат литовских правителей. При ином стечении обстоятельств Господин Великий Новгород мог бы присоединиться к Литве, резко ее усилив.

[1] *Янин В.Л.* Новгородские посадники. 2-е изд. М. : Языки славянской культуры, 2003. С. 353, 438.

Альтернатива Великого княжества Литовского

Противоборство Москвы с Литвой проходило, в сравнении со слабостью новгородской альтернативы, в гораздо более равных условиях.

Как известно, после монголо-татарского нашествия большинство бывших княжеств Киевской Руси полудобровольно-полупринудительно перешло под власть литовских князей. Официальным языком Великого княжества Литовского был русский (старобелорусский), язык 80% его подданных. Если взглянуть на школьную карту по истории, то просто по размерам контролируемых территорий видно, что Великое княжество Литовское выступало как центр консолидации русских земель, по меньшей мере не уступающий Москве. При этом уровень политической и экономической демократии в Литве был существенно выше: литовские князья руководствовались принципом «мы старины не рушим», что вело к сохранению унаследованных от Киевской Руси институтов боярской самостоятельности и вечевого самоуправления, постепенно трансформировавшихся в дворянскую демократию и магдебургское право.

Поскольку Великое княжество Литовское, как и Московское княжество, применяло вотчинно-поместную систему военной комплектации, то ее военный потенциал был никак не ниже, чем у Москвы. Показателем военной силы Литвы является хотя бы то, что если Москва платила дань Золотой Орде, то Литва была от нее независима (хотя и она сильно страдала от татарских набегов).

Напомним, что если силовые возможности разных институциональных региональных моделей приблизительно равны, исход их противоборства зависит от сравнительных экономических возможностей, но может быть решен и во многом случайными обстоятельствами.

В институциональной конкуренции между Москвой и Литвой поражение Литвы как «второй России» — Западной России, борющейся с московской Восточной Россией, — связывают с неудачным конфессиональным выбором литовских князей. Приняв по Кревской унии 1385 г. католицизм, они закрыли для себя возможность стать «своими» для русских подданных, поскольку вплоть до новейшего времени конфессиональные границы становились и границами национальных экономических систем. Вероятно, если бы Ягайло и Витовт сделали ставку не на союз с католической Польшей, а на православных подданных, они могли бы присоединить к Литве и Московское княжество, сыграв в русской истории роль Ивана III. Гадячская уния 1658 г., формально признавшая равноправие в Речи Посполитой православных и католиков, пришла слишком поздно, когда Западная Россия уже умирала, и поэтому не привела ни к каким реальным изменениям.

Уния Литвы не с Московской Русью, а с Польшей привела к «вестернизации по-польски» и формированию на западнорусских землях своеобразного республиканского строя, отчасти схожего с Новгородской боярской республикой времен ее заката.

Уже в 1447 г. литовское дворянство получило по польскому образцу гарантии частной собственности на землю и налоговый иммунитет (правитель Литвы лишился права налагать подати и повинности на частновладельческих крестьян). В 1505 году шляхетский сейм в г. Радом принял так называемую «Радомскую конституцию»: правитель не имел права издавать какие-либо законы без согласия представителей дворянства (сената), причем для принятия закона требовалось его единогласное одобрение всеми участниками сейма — дворянского парламента. Трансляция на Литву польских институтов дворянской демократии резко ускорилась после Люблинской унии 1569 г., когда Великое княжество Литовское окончательно слилось с Польским королевством, и объединенное польско-литовско-русское государство стало называться «Речь Посполитая» (Rzecz pospolita — по-польски

«республика», «общее дело»). Это название отражало высокую роль, которую играли как в Польше, так и в Литве дворянские парламенты-сеймы разных уровней — от местных (сеймики) до общегосударственного (валовый сейм). Членами валового сейма были делегаты сеймиков, выбираемые всеми представителями дворянского сословия. Поскольку дворянский титул носил почти каждый десятый подданный Речи Посполитой, в парламентской деятельности участвовало 8—10% всего населения этой страны (заметно больше, чем в Новгородской республике).

В состав Речи Посполитой входили многие русские земли — современные Украина, Белоруссия, Смоленская область. Вплоть до XVII в. они продолжали выступать «второй Россией», альтернативным — более демократическим — вариантом социально-экономического развития русской цивилизации. Последний шанс на перехват ею инициативы у московского самодержавия был упущен во время Смуты 1604—1618 гг. Провал попыток посадить на московский престол западнорусского православного правителя (сначала Лжедмитрия I, потом сына короля Сигизмунда III) привел к тому, что за Речью Посполитой окончательно закрепилась репутация злейшего врага православия. К концу XVII в., с завершением окатоличивания русской знати и после страшных разорений Хмельнитчины и русско-польской войны 1654—1667 гг., Западная Россия окончательно исчезла, дав начало Украине и Белоруссии[1].

Альтернатива казачества

Если новгородская и литовская альтернативы Московскому царству давно осознаны, то казацкая альтернатива до сих пор серьезно недооценена.

Если в советские времена вольные казаки считались прежде всего борцами против феодальной эксплуатации, то в последние десятилетия российские «патриоты» превозносят их как защитников Отечества и православия. Реальные донцы и запорожцы, однако, причудливо сочетали черты не только защитников свободы и «степных рыцарей», но также профессиональных наемников и «бандитов-гастролеров»[2].

Вольное казачество сложилось на южной окраине русских земель в начале XVI в. как «буфер» между Россией и Степью. Изначальное этническое ядро казаков остается предметом дискуссий — видимо, «коренные» казаки состояли как из русских, принявших образ жизни кочевников, так и из кочевников, принявших православие. В течение XVI—XVII вв. сюда уходили наиболее пассионарные представители всех сословий (от холопов до дворян), которые были готовы вне контроля центрального правительства каждодневно добывать средства к жизни саблей, а не плугом. В казачьих станицах Дона и Запорожской Сечи даже в XVII в. запрещалось заниматься земледелием, зато оружием здесь владел каждый. Военная добыча от походов против «басурман» стала главным источником дохода этих профессиональных воинов.

Численность казаков в сравнении с числом подданных Москвы и Литвы была весьма небольшой — лишь несколько десятков тысяч человек. Однако высокий военный потенциал вольного казачества, а также его способность резко увеличивать свои ряды за счет приема новых пассионариев заставляли рассматривать казаков как вескую силу, способную выдвигать свой вариант социально-экономического устройства общества. Каков этот

[1] Условной датой конца Западной России можно считать 1696 г., когда литовско-(бело)русские послы на сейме Речи Посполитой внесли предложение о замене (бело)русского языка польским в государственном употреблении на землях бывшего Великого княжества Литовского.

[2] Ранее этот сюжет был рассмотрен в статье: *Латов Ю.В.* Особенности национального рэкета: история и современность // Мир России. 2001. № 3.

вариант, стало ясно во время Смуты 1604—1618 гг., которую современные историки начинают рассматривать как первую в истории России полномасштабную гражданскую войну[1], связанную с противоборством трех разных моделей развития российской цивилизации — московской, литовской и казацкой.

Казацкие отряды с Дона и из Запорожья действовали в годы Смуты почти во всех краях Московии, выступая союзниками практически всех противоборствующих сторон — всех Лжедмитриев и других самозванцев, поляков, шведов, армии И. Болотникова, Первого и Второго ополчений, правительств В. Шуйского и М. Романова. И всегда эти союзники отличались наряду с отличными боевыми качествами довольно своеобразным отношением к военной дисциплине и стремлением разграбить все, что подвернется под руку. Находясь формально на службе у того или иного «законного» правителя, казаки фактически подчинялись лишь решениям своих сходок — казацких кругов, которые стали, по существу, своеобразными мини-правительствами.

Согласно их решениям, казаки наряду с беспорядочным грабежом практиковали и более упорядоченные его формы. С 1607 года на контролируемых казаками местностях в центральной России стали создаваться так называемые приставства: отряд казаков (станица) захватывал определенную территорию в коллективное кормление, заставляя местных жителей отдавать все, что захотят забрать люди с оружием[2]. Наибольшего распространения практика казачьих приставств получила в 1614—1615 гг., на последней фазе Смуты.

Приставство — это наиболее примитивная форма власти-собственности, когда право забирать имущество прямо и непосредственно опирается на силу оружия, причем этим правом обладает не индивид, а коллектив вооруженных людей как целое. Поскольку казацкие станицы часто меняли свою дислокацию, у них, вполне по М. Олсону, не было никаких стимулов заботиться о преумножении достатка крестьян. Если же те выражали недовольство грабительскими наклонностями владельцев приставства, казаки демонстрировали право силы, не останавливаясь перед убийствами. Не удивительно, что крестьяне нередко организовывали отпор подобным «бандитам-гастролерам» силами местной самообороны, либо помогали правительственным войскам. Хотя их политическая организация отличалась ярким демократизмом, экономические идеалы казаков оказались далеко не демократичны — они хотели «воли» лишь для себя.

Важно отметить, что в годы восстания И. Болотникова и позже некоторые монастыри (именно они были тогда крупнейшими землевладельцами) выплачивали казакам, контролировавшим эту территорию, определенные суммы денег в обмен на гарантии неприкосновенности своих владений[3]. Соответственно, те казацкие «группировки», которые ее использовали, продвинулись наиболее далеко в эволюции от «бандитов-гастролеров» к «оседлым бандитам», повторяя тот путь, по которому ранее прошли полулегендарные викинги Рюрика. Впрочем, такая эволюция оказывалась неустойчивой и отнюдь не повсеместной: видимо, вольные казаки чаще предпочитали сразу и немедленно отбирать добро у своих жертв, не задумываясь о завтрашнем дне.

Поскольку казачьи отряды действовали разрозненно, без какой-либо координации друг с другом, то новое правительство Романовых все же нашло силы разогнать «гулявшие» по Московии отряды «казаков-разбойников». Если бы у казаков появился в это время

[1] См., например: *Станиславский А.Л.* Гражданская война в России XVII в.: Казачество на переломе истории. М. : Мысль, 1990.

[2] Там же. С. 23—24, 41.

[3] Там же. С. 24.

лидер типа Богдана Хмельницкого, то Смута могла закончиться коронацией «казацкого царя» и «вторым изданием» власти-собственности. В реальной истории, однако, казацкий «потоп», едва не перевернувший Русское государство, вернулся в обычное русло. Попытки казаков заменить вотчинно-поместную систему казачьими приставствами потерпели провал в силу как неравенства военных потенциалов разрозненных казацких отрядов и Московского государства, так и субъективных факторов.

Лишь в 1671 г. донское казачество, зажатое между Московским государством и Турецкой империей, дало присягу на верность московским государям. Характерно, что это произошло сразу после подавления «восстания» Степана Разина 1669—1671 гг. — не столько крестьянской войны, сколько неудачной попытки вернуться к Смутному времени. «Казацкая альтернатива» окончательно исчезла лишь в конце XVIII в., после разгрома Запорожской Сечи и подавления «восстания» Емельяна Пугачева 1773—1775 гг. — последней попытки казаков навязать российской цивилизации собственную версию отношений власти-собственности[1].

К чему мог привести успех казацких походов против Москвы, можно понять по результатам Хмельнитчины на территории Речи Посполитой. Здесь казакам повезло — их вождем оказался человек с хорошими военными и, главное, дипломатическими талантами. После казацких войн 1648—1654 гг. на значительной части территории Украины казакам удалось ликвидировать старую правящую элиту и создать полусамостоятельное (до времен Петра I) государство под гетманским управлением. Социально-экономическим результатом стало разорение страны в ходе полувековых войн и междоусобиц — в истории Украины исторический период после смерти Богдана Хмельницкого носит красноречивое название Руина. Поместная система в Казацком государстве сохранилась, но произошло обновление личного состава землевладельцев и усиление институтов власти-собственности. Иначе говоря, удачный казацкий мятеж оказался элементом «азиатского цикла» смены правящих элит. Лишь во времена Ивана Мазепы казацкая старшина начала закреплять земли в наследуемое владение, приближаясь к московским служивым помещикам.

Если бы «крестьянские войны» привели к захвату власти казаками, украинская Руина повторилась бы в масштабах всего Московского государства. Поэтому в то время как провал литовской альтернативы был неэффективным выбором в бифуркационной ситуации, пресечение казацкой альтернативы, напротив, пример эффективного выбора. Московский вариант власти-собственности был определенно лучше казацкой власти-собственности.

Таким образом, главным сюжетом институциональной экономической истории средневековой России является постоянное противоборство двух институциональных систем, двух наборов «правил игры» — основанной на восточной власти-собственности и основанной на западных принципах уважения прав частной собственности (табл. 1.6).

В формировании российского «служивого государства» можно выделить три бифуркационных события:

- первое связано с победой монголо-татар над русскими княжествами во время похода Батыя в 1237—1240 гг. и установлением затем над Северо-Восточной Русью режима ордынского «протектората», при котором осуществлялся активный экспорт институтов власти-собственности;

[1] В советской историографии было принято интерпретировать движения И. Болотникова, С. Разина и Е. Пугачева как «крестьянские войны». Критику стереотипа и обоснование преимущественно казацкого характера этих «восстаний» (скорее, гражданских войн) см.: *Сокольский М.* Почему «крестьянские войны»? Мифоведческое эссе // Сокольский М. Неверная память. Герои и антигерои России. М. : Московский рабочий, 1990; *Нолыпе Г.Г.* Русские «крестьянские войны» как восстания окраин // Вопросы истории. 1994. № 11.

- второе — с победой в XIV—XVII вв. провосточной московской модели власти-собственности над прозападной литовской моделью, предполагающей развитие частной собственности;
- третье — с победой в XVII в. московской модели над казацкой моделью, которая являлась более архаичной версией системы институтов власти-собственности.

Таблица 1.6

Сравнение институциональных характеристик альтернативных моделей развития русской цивилизации XIII — XVII вв.

Институциональные характеристики	Модели, основанные на власти-собственности		Модели, основанные на частной собственности	
	Московская модель	Казацкая модель	Новгородская модель	Литовская модель
Формы земельной собственности	Поместья и вотчины как индивидуальные служебные владения	Приставства как коллективные служебные владения	Вотчинная неслужебная собственность	
Управление	Самодержавное	Демократическое	Боярская олигархия с элементами народной демократии	Дворянская демократия
Военная организация	Поместная система	Поголовное вооружение	Дружина приглашенного князя, городское ополчение	Дворянская и наемная армии
Причины поражения в конкуренции с Москвой	—	Разрозненность вооруженных сил, непривлекательность для крестьян	Слабость военной организации	Неудачный конфессиональный выбор правящей династии

Если в средневековой России противоборство разных институциональных моделей развития российской цивилизации завершилось к XVI—XVII вв. торжеством власти-собственности, то Новое время стало периодом постепенного и не слишком последовательного, но несомненного усиления институтов частной собственности[1]. Зависимость от предшествовавшего развития сильно тормозила этот процесс, так что даже в начале XX в. институты российского самодержавного государства сильно отличались от западноевропейских.

[1] *Нуреев Р.М., Латов Ю.В.* Институциональные ограничения догоняющего развития императорской России // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2007. Т. 5. № 2.